

# Рэгтайм

**Автор:**

[Эдгар Доктороу](#)

Рэгтайм

Эдгар Лоренс Доктороу

Интеллектуальный бестселлер  
Культурная классика

Великий ретророман, послуживший основой для культового фильма Милоша Формана. Здесь реальное переплелось с вымышленным, экстраординарное – с обыденным. Чтобы раскрыть в этой удивительно тонкой и остроумной книге истинную душу Америки, Доктороу выбрал важнейший отрезок ее истории – начало XX века, «эру рэгтайма». Он сделал Форда, Моргана, Гудини и других исторических личностей персонажами своего романа, а громкие события и актуальные темы – кирпичиками для строительства фантастичной до абсурда, но при этом абсолютно правдивой семейной саги.

Э. Л. Доктороу

Рэгтайм

E.L. Doctorow: RAGTIME

Copyright © E.L. Doctorow, 1974,1975

В оформлении переплета использована фотография: Circa Images / Bridgeman Images / Fotodom.ru

Фото автора © Francesca Magnani

© Аксенов В., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

\* \* \*

С теплым чувством посвящается Роз Доктороу-Бак

Не торопись.

Играешь рэгтайм,

Никогда не спеши...

Скотт Джаплин

I

1

В 1902 году Отец построил дом на гребне холма, что на авеню Кругозора, что в Нью-Рошелл, что в штате Нью-Йорк. Трехэтажный, бурый, крытый дранкой, с окнами в нишах, с крыльцом под козырьком, с полосатыми тентами – вот домик. Солнечным июньским днем семейство вступило во владение этим отменным особняком, и даже несколько лет спустя им казалось, что все их дни здесь будут теплыми и ясными, как тот июнь. Лучшую часть своих доходов Отец извлекал из производства флагов, знамен, стягов и других атрибутов патриотизма, включая

и фейерверки. На чувство патриотизма в ранние девятисотые можно было положиться. Президентом был Тедди Рузвельт. Население в огромных, по обыкновению, количествах собиралось для общественных вылазок на природу, на ритуал «жареная рыба», на парады, на политические пикники, не пренебрегая, однако, и сборищами в театрах, в конференц-залах, дансингах, где угодно. Похоже, не было ни одного мероприятия, на которое не слетались бы несметные рои народу. Поезда, пароходы и трамваи исправно перевозили публику с места на место. Таков был стиль, таков образ жизни. Дамы были гораздо основательнее тогда. С белыми зонтиками в руках они визитировали флот. Летом все носили белое. Тяжеленные теннисные ракетки были эллипсоидными. Отмечалось немало обмороков на любовной почве. Однако – никаких негров. Никаких иммигрантов. В воскресенье пополудни, а именно после обеда, Отец и Мать пошли наверх и закрылись в спальне. На диване в гостиной Дед как был, так и заснул. На крыльце устроился Малыш в матроске – сидя там, он успешно отмахивался от мух. У подножия холма Младший Брат Матери скакнул в трамвай и поехал к концу линии. Этот одинокий и отрешенный молодой человек со светлыми усиками будто бы нарочно был придуман для самотерзаний. В конце линии поджидало его пустое поле высокой болотной травы. Соленый воздух. Младший Брат, облаченный в белый костюм и непременно канотье, закатал брюки и пошел босиком по соленой слякоти. Вспугивал морских пернатых. Это было то время в нашей истории, когда Уинслоу Хомер продуцировал свою живопись. Особое освещение еще присутствовало тогда вдоль Восточного побережья. Хомер писал этот свет. Тяжелая нудноватая угроза холодно поблескивала на скалах и мелях Новой Англии. Необъяснимые кораблекрушения, смелые спасательные буксировки. Странноватые дела на маяках и в лачугах, гнездящихся в прибрежных сливовых зарослях. По всей Америке открыто гуляли секс и смерть. Женщины очертя голову умирали в ознобе экстаза. Богатеи подкупали репортеров, чтобы скрыть свои делишки. Журналы надо было читать между строк, что и делалось. Газеты в Нью-Йорке увлеченно занимались убийством знаменитого архитектора Стэнфорда Уайта. Убийца Гарри Кэй Фсоу, эксцентрический отпрыск железнодорожных властелинов, был мужем общепризнанной красавицы Эвелин Несбит, которая когда-то была любовницей жертвы. Роковая стрельба имела место в саду на крыше Медисон-сквер-гарден, впечатляющего здания длиной в целый квартал – желтый кирпич и терракота, – которое Уайт как раз сам и разработал в севильском стиле. Там как раз происходила премьера ревью «Мамзель Шампань», и, как только хор запел и затанцевал, эксцентрический отпрыск, одетый по случаю летней ночи в зимнее пальто, вытащил пистолет и трижды выстрелил знаменитому архитектору в голову. На крыше. Крики ужаса. Эвелин мгновенно и полностью отключилась. Она стала известнейшей натурщицей уже к

пятнадцатилетнему возрасту. Нижнее белье белое. Муж взял себе в привычку пороть ее. Однажды ей случилось повстречаться с Эммой Голдмен, революционеркой. Та бичевала ее своим огненным языком. Очевидно, все же были негры уже. Были все ж таки иммигранты же. И хотя газеты трубили о Преступлении Века, Голдмен знала, что шел только 1906-й и впереди у нас было девяносто четыре года.

Младший Брат Матери был влюблен в Эвелин Несбит. Он пристально следил за скандалом, окружавшим ее имя, и полагал, что после смерти любовника и ареста мужа удивительное создание нуждается во внимании безденежного, но благородного молодого человека из средних классов. Он замкнулся на этой идее. Он отчаялся. В комнате его приколот был к стенке вырезанный из газеты рисунок Чарльза Дейна Гибсона, названный «Вечный вопрос». На нем была представлена Эвелин в профиль, в избытке ее волос, причем одна прядь падала, принимая форму перевернутого вопросительного знака. Упавший завиток затенял ее бровь и украшал потупленный глазик. Носик слегка вздернут. Губки чуть-чуть надуты. Длинная шея изгибалась словно птица, поднимающая крылья. Эвелин Несбит была причиной смерти одного и крушения другого, но не было ничего стоящего в жизни, кроме объятия ее тонких рук – о да!

Послеполуденная голубая дымка. Приливная вода просачивалась в его следы. Он нагнулся и поднял чудесную раковину, необычную для западного Лонг-Айленда. Она была розовая и янтарная, спирально закрученная в виде муфты. Соль подсыхала на его лодыжках, он стоял в солнечной дымке и, запрокинув голову, глотал морскую воду из этой раковины. Чайки вились над головой, трубя, как гобои, а за его спиной, скрытый высокой травой, предостерегающе звонил на Северной авеню трамвай.

На другом конце городка Малыш в матроске, вдруг потеряв покой, взялся измерять длину крыльца. Разумеется, пошло в оборот плетеное кресло-качалка. Малыш был в зените детской мудрости, которая никогда не предполагается взрослыми и, стало быть, проходит нераспознанной. Широчайшие познания он черпал в ежедневных газетах и постоянно следил за дискуссией между профессиональными бейсболистами и ученым, который объявил крученую подачу оптической иллюзией. Он чувствовал, что обстоятельства семейной жизни препятствуют его тяге к познанию. Вот, например, он возымел невероятный интерес к артисту-эскейписту Гарри Гудини. И что же? Его ни разу еще не взяли на представление. Гудини был гвоздем всех главных водевильных программ. Аудитория его – дети, носильщики, уличные торговцы, полицейские –

словом, плёбс. Жизнь его – абсурд. По всему миру его заключали в разного рода путы и узилища, и он убегал отовсюду. Привязан веревкой к столу. Убежал. Прикован цепью к лестнице. Убежал. Заключен в наручники и кандалы, завязан в смирительную рубашку, заперт в шкаф. Убежал. Он убегал из подвалов банка, заколоченных бочек, зашитых почтовых мешков, из цинковой упаковки пианино Кнабе, из гигантского футбольного мяча, из гальванического котла, из письменного бюро, из колбасной кожеры. Все его побеги были таинственны, ибо он никогда не взламывал своих узилищ и даже не оставлял их открытыми. Занавес взлетал, и он оказывался, всклокоченный, но торжествующий, рядом с тем, в чем предположительно он только что содержался. Он махал толпе. Он освободился из молочного бидона, наполненного водой, из русского тюремного вагона, сбежал с китайской пыточной дыбы, из гамбургской тюрьмы, с английского тюремного корабля, из бостонской тюрьмы. Его приковывали к автомобильным колесам, пароходным колесам, пушкам – и он освобождался. Он нырял в наручниках с моста в Миссисипи, Сену, в Мереей и выныривал, приветствуя народ раскованными руками. В смирительной рубашке и вниз головой он свисал с кранов, с бипланов, с домов. Он был сброшен в океан в водолазном костюме с полным снаряжением, но без воздушного шланга. Убежал. Он был похоронен заживо, но на этот раз не смог освободиться, пришлось его спасать. Земля слишком тяжела, сказал он задыхаясь. Ногти кровоточили. Глаза забиты землей. В нем не было ни кровинки, он не держался на ногах. Помощник вытаскивал его. Гудини хрипел и бессвязно бормотал. И кашлял кровью. Его отпустили и отвезли в отель. Сейчас, через пятьдесят лет после его смерти, аудитория у подобных эскапад еще больше увеличилась.

Малыш на крыльце взирал на майскую муху, что пересекала навес таким образом, словно это путь на холм с Северной авеню. Муха улетела. С Северной авеню на холм поднимался автомобиль. Ближе, ближе и оказался не чем иным, как 45-сильным «Поп-Толидо Ранэбаут». Малыш сбежал по ступеням крыльца. Производя сильный шум, машина прошла мимо дома и отклонилась прямоком в телефонный столб. Малыш побежал в дом и воззвал наверх к родителям. Для начала проснулся Дед. Малыш побежал обратно на крыльцо. Шофер и пассажир стояли на улице, разглядывая машину. Большие колеса с пневматическими шинами и деревянными спицами, покрытыми черной эмалью. Медные фары перед радиатором и медные боковые лампы на крыльях. Обивка с кисточками и дверцы с каждой стороны. Никаких повреждений не замечалось. Шофер был в ливрее. Он поднял крышку капота. Гейзер белого дыма вырвался с дивным шипением.

Кое-кто поглядывал из ближних дворов. Однако Отец, прилаживая цепочку на жилете, уже спускался посмотреть, чем он может помочь. Владельцем машины оказался Гарри Гудини, знаменитый эскейпист. Он проводил день, путешествуя через Вустер и размышляя о покупке какой-нибудь собственности. Его пригласили в дом, пока радиатор охлаждался. Он удивил всех своими скромными, едва ли не занудными манерами. Он выглядел подавленным. Так оно, между прочим, и было: его успехи привлекли в водевиль сонмы конкурентов, и, следовательно, ему приходилось выдумывать все больше и больше опасных трюков. Невысокий, ладно скроенный и очевиднейший атлет: мускулы спины и рук более чем отчетливо определялись под твидовым костюмом, тоже скроенным весьма неплохо, хотя и несколько неуместным в этот жаркий день. Ртуть подбиралась к 90 (Фаренгейта). У него были жесткие, непослушные волосы, разделенные посередине на пробор, и чистые голубые глаза, которые двигались без устали. Он был чрезвычайно почтителен к Матери и Отцу и говорил о своей профессии с некоторой неуверенностью, что их приятно поразило. Малыш пожирал его глазами. Мать велела подать лимонад. Гудини оценил это чрезвычайно. В гостиной было прохладно благодаря парусиновым навесам над окнами, да и сами окна были закрыты, чтобы не впускать жару. У Гудини возникло пожелание отстегнуть еще и воротничок, но он чувствовал себя здесь как бы в плену этой тяжелой квадратной мебели, драпировок и темных ковров, восточных шелков и абажуров зеленого стекла. Шкура зебры к тому же. Заметив взгляд Гудини, Отец мимоходом сообщил, что застрелил эту зебру на сафари в Африке. У Отца была весьма значительная репутация исследователя-любителя. В прошлом он имел честь быть президентом Нью-Йоркского клуба исследователей, куда вносил ежегодно лепту. В самом деле, через несколько дней он отбывал из дома, чтобы нести флаг своего клуба в третьей арктической экспедиции commodора Пири. «Значит, вы собираетесь с Пири на полюс?» – спросил Гудини. «С божьей помощью», – ответил Отец, после чего сел в свое кресло и закурил сигару. Гудини чрезвычайно оживился. Он вышагивал взад-вперед и говорил о собственных приключениях, о турне по Европе. «Однако полюс! – воскликнул он. – Это нечто! Вы, должно быть, в полном порядке, если вас выбрали для этого». Голубые его глаза обратились к Матери. «Поддерживать домашний очаг тоже не очень-то легкое бремя», – сказал он. Не лишен шарма, нет-нет. Он улыбнулся, и Мать, крупная блондинка, потупилась. Гудини провел еще несколько минут, производя рукой мелкие ловкие фокусы с незначительными предметами, как бы специально для Малыша. Когда он взялся уходить, вся семья целиком провожала его до дверей. Отец и Дед пожали ему руку. Он прошел по тропинке под большущим кленом и по каменным ступеням спустился на улицу. Шофер ждал, машина была в порядке. Гудини вскарабкался на сиденье рядом с шофером и помахал рукой. Соседи глазели на него со своих

дворов. Малыш, сопровождавший волшебника на улицу, теперь стоял перед «Поп-Толи-До», глядя на собственное искаженное, макроцефальное отражение в медной фаре. Гудини подумал: вот пригожий пацанчик, светленький, как его мамочка, кучерявенький, быть бы ему чуть-чуть пожестче. Он перегнулся через дверцу и протянул руку. «До свидания, сынок». – «Предупреди эрцгерцога», – вдруг сказал Малыш. После чего убежал.

2

Так уж случилось, что неожиданный визит Гудини оборвал родительский коитус. Увы, Мать не подавала теперь никаких знаков к возобновлению. Больше того, она ретировалась в сад. Дни проходили, время отъезда Отца приближалось, и он все время ждал с ее стороны молчаливого приглашения в постельку. Жизнь научила его, что любая собственная активность может сорвать все предприятие. У этого кряжистого мужчины были завидные аппетиты, но в то же время он чрезвычайно ценил несклонность жены отвечать его неделикатным потребностям. Тем временем все домашнее хозяйство подготавливалось к отъезду. Нужно было упаковать все его принадлежности, сделать массу распоряжений по бизнесу на время отсутствия, предусмотреть тысячи других деталей. Мать поднимала тыльную сторону ладони ко лбу и отбрасывала прядь волос. Никто в семье не был, конечно же, безразличен к тем опасностям, которые ждали Отца. Правда, никто и не думал останавливать его. Их брак, казалось, расцветал после его пространных отлучек. Вечером перед его отъездом за обедом рукав Матери смахнул ложечку со стола, и она покраснела. Когда дом погрузился в сон, Отец прошел в темноте в ее спальню. Он был торжественен и внимателен соответственно обстоятельствам. Мать закрыла глаза и зажала уши. Пот с отцовского подбородка падал на ее груди. Она начала. Она думала: пока, как мне кажется, это были счастливые годы, но впереди нас ждут беды.

На следующее утро все отправились на станцию проводить Отца. Присутствовал кое-кто из начальства, и заместитель Отца произнес короткую речь. Расплескались аплодисменты. Прибыл нью-йоркский поезд. Пять лакированных темно-зеленых вагонов, влекомых «Болдуином-4-4-0» с огромными колесами. Малыш наблюдал за смазчиком, который с масленкой копошился у бронзовых клапанов паровоза. Он почувствовал руку на своем плече, оглянулся и обнаружил рядом смеющегося Отца, который предлагал ему крепкое мужское

рукопожатие. Дед был отстранен от перетаскивания багажа. С помощью носильщика Отец и Младший Брат Матери погрузили сундуки. Отец пожал молодому человеку руку. Он повысил его в должности и укрепил его положение в фирме. «Приглядывай за делами», – сказал Отец. Младший Брат кивнул. Мать сияла. Она нежно обняла мужа, а тот поцеловал ее в щеку. Стоя на задней платформе последнего вагона, Отец ускользал, поднимая шляпу в прощальном приветствии, пока не скрылся за поворотом.

На следующее утро после завтрака с шампанским для прессы люди из экспедиции Пири выбрали швартовы, и их маленький, но крепенький корабль «Рузвельт» отошел от причала на Ист-Ривер. Пожарные катера, выпускающие струи воды, развешивали вокруг радуги, раннее солнце поднималось над городом. Пассажирские лайнеры трубили в свои басовитые горны. Это продолжалось, пока «Рузвельт» не достиг открытого моря, и лишь тогда Отец убедился в реальности путешествия. Стоя у борта, он благоговейно, всеми костями, ощутил неизменное дыхание океана. Спустя некоторое время «Рузвельт» прошел мимо трансатлантической посудины, набитой по самую трубу иммигрантами. Отец смотрел, как шлепал по воде нос этой чешуйчатой широченной посудины. Ее палуба кишела людьми. Тысячи мужских голов в котелках-«дерби». Тысячи женских – в платках. Отец, персона нормальная и прочная, внезапно ощутил упадок духа. Странное отчаяние охватило его. Ветер крепчал, и небо затягивалось, и великий океан начал метаться и разламываться, являя на свет божий вздымающиеся плиты гранита и скользящие террасы сланца. Отец смотрел на иммигрантскую посудину, откуда не потерял ее из вида. Все же, подумал он, это плывут новые покупатели, им понадобится огромный магазин под американским флагом.

3

Большинство иммигрантов явились из Италии и Восточной Европы. Баркасами их доставляли на остров Эллис, где в оригинально орнаментированных красным кирпичом и серым камнем человеческих хранилищах их нумеровали, снабжали ярлыками, мыли в душе и размещали на скамейках в загончиках для ожидания. Прибывшие немедленно ощущали неограниченную власть иммиграционных властей. Чиновники лихо меняли имена, которые им трудно было выговорить, отрывали людей от их семейств, списывали в обратный путь стариков, близоруких, подонков общества и тех, кто им казался нахалами. Слепляющая

власть этих людей напоминала иммигрантам то, от чего они бежали. В конце концов они оказывались на улицах и кое-как притыкались в жилых кварталах. Ньюйоркеры их презирали. Такие грязные, неграмотные. Воняют рыбой и чесноком. Гноящиеся раны. Бесконечные несчастья. Никакой чести, работают почти бесплатно. Воруют. Пьют. Насилуют собственных дочерей. Убивают друг друга. Среди тех, кто их презирал, большинство составляли ирландцы второго поколения, чьи отцы были повинны в тех же грехах. Ирландские ребяташки таскали за бороды старых евреев и сбивали их с ног. С не меньшим успехом переворачивались тележки итальянских разносчиков.

В любое время года по улицам проезжали особые фургоны и подбирали тела доходяг. По ночам старые женщины в платках «бабушкой» отправлялись в морги искать своих мужей и сыновей. Трупы лежали на столах оцинкованного железа. От изножья каждого дренирующая трубка шла к полу. Вокруг края стола тянулся кульверт, и в этот кульверт непрерывно стекала вода, которая разбрызгивалась столь же непрерывно из крана над головой. Лица покойников были подняты вверх, в потоки воды, которая окатывала их подобно неукротимому механизму смерти, смерти в собственных слезах, так сказать.

Однако можно уже было кое-где услышать гаммы, уроки игры на пианино. Люди мало-помалу «пристегивались к флагу». Мостили улицы. Пели. Хохмили. Целые семьи ютились в одной-единственной комнате, и каждый работал: Мамка, Тятя и Малышка в передничке. Мамка и Малышка шили штанишки и получали семьдесят центов за дюжину. Бралась за шитье, вылезая из постели, и прекращала только перед отходом ко сну. Тятя добывал пропитание на улицах. Время шло, и они решили познакомиться с городом. Однажды в воскресенье, охваченные дикой бесшабашностью, они потратили 12 центов на три билета и отправились трамваем в центр. Они шли по Медисон авеню и по Пятой авеню и глазели на особняки. Владельцы называли эти особняки дворцами. Они правильно их называли, это и были дворцы, и все они были спроектированы Стэнфордом Уайтом. Тятя был социалист. Он смотрел на дворцы, и сердце его kloкотало от социальной ярости. Приходилось, однако, спешить. Полицейские в высоких касках поглядывали на семейство. Им не очень-то нравилось видеть иммигрантов на этих широких пустых тротуарах в этой части города. «Побаиваются, – объяснял Тятя, – несколько лет назад один иммигрант застрелил стального магната Генри Фрика в Питтсбурге».

В семью пришел кризис вместе с письмом, в котором говорилось, что Малышка должна посещать школу. Это означало, что теперь им не свести концы с

концами. Мамка и Тятя беспомощно отвели ребенка в школу. Она была зачислена и теперь ежедневно уходила. Тятя слонялся по улицам. Он не знал, что делать со своим «бизнесом вразнос». Ни разу бедолаге не удалось найти выгодное местечко у обочины. Пока он так плутал, Мамка сидела у окна со своими раскройками и крутила швейную машинку. Маленькая темноглазая женщина с волосами, разделенными посередине и собранными на затылке в некий крендель. Оставаясь в одиночестве, она обычно пела нечто своим тоненьким и довольно сладким голоском. Нечто без слов. Однажды пополудни она собрала, как обычно, законченную работу и понесла ее на Стэнтон-стрит, в склад на чердаке. Владелец склада пригласил ее к себе в контору. Он внимательно осмотрел работу и похвалил ее. Тут же и денежки отсчитал – долларом больше, чем следовало. «Это просто потому, что вы такая хорошенькая», – объяснил он. Улыбнулся. Чуть-чуть потрогал Мамкины груди. Мамка убежала, прихватив, однако, лишний доллар. В следующий раз все это повторилось. Она объяснила Тяте, что сильно увеличила выработку. Постепенно она привыкала к рукам своего работодателя. Однажды, получив двухнедельную плату, она позволила ему сделать с ней все, что он хотел, на раскройном столе. Он целовал ее лицо, соленое от слез, солененькое от слезок.

К этому моменту истории Джейкоб Риис, неутомимый газетчик и реформатор, стал писать о жилищах для бедняков. Страшная скученность. Ноль санитарии. Улицы завалены говном. Дети умирают от элементарнейшей простуды, от легкой сыпи. Умирают в кроватках, сделанных из двух кухонных стульев. Умирают на полу. Многие люди полагали, что грязь, голод и болезни – это просто следствия моральной дегенерации иммигрантов. Риис был не из этого числа, он верил в вентиляцию. Вентиляция, воздух и свет принесут здоровье. Он карабкался по темным лестницам, стучался в двери и вспышкой фотографировал нуждающиеся семьи. Очень просто: поднимаешь сковородку с магнием, суешь голову под капюшон, вспышка – щелчок! Ослепив семейство, он удалялся, а те, не осмеливаясь двинуться, надолго оставались в исходной позиции. Потом они начинали ждать от жизни чудесных изменений и трансформаций. Риис сделал цветную карту этнических групп Манхэттена. Скучный серый цвет был предоставлен евреям – это их любимый цвет, объяснил Риис. Красный – смуглым итальянцам. Голубой – экономным немцам. Черный – африканцам. Зеленый – ирландцам. Ну, а желтый, разумеется, коту-китайцу: кто, как не кошка, кроется в их жестокой хитрости и дикой ярости – лишь только тронь. Добавьте цветные штришки еще и для финнов, арабов, греков, для прочих, и вы получите сумасшедшее одеяло человечества, кричал Риис, взбесившееся одеяло нью-йоркского гуманизма.

Однажды Риис решил проинтервьюировать Стэнфорда Уайта, именитого архитектора. Он хотел бы узнать, строил ли когда-нибудь тот жилища для бедных. Какие у него идеи по части такого строительства, по части вентиляции, света. Уайта он нашел в доках наблюдающим за выгрузкой европейской архитектурной обстановочки. Риис как замороженный взирал на то, что появлялось из трюмов: целые фасады флорентийских дворцов и афинская атрия, камень к камню, все маркированные, живопись, скульптура, гобелены, резные и рисованные потолки, мраморные фонтаны, мраморные лестницы и балюстрады, изразцовые патио, паркетные полы и шелковые стенные панели, пушки, знамена, доспехи, арбалеты и другое древнее оружие, кровати, картины, пиршественные столы, клавикорды, бочки стекла, столового серебра и золота, фаянс и фарфор, церковный орнамент, ящики редчайших книг и табакерки. Уайт, здоровенный, полнокровный мужлан с рыжеватой, слегка седеющей щеткой волос, ходил вокруг, шлепая скатанным зонтиком по спинам тружеников. «Осторожно, вы, дурачье!» – покрикивал он. У Рииса были вопросы к знаменитости. Жилища для бедных – это была его тема. Однако сейчас перед ним предстал образ демонтированной Европы, расчищения древних земель от скученности, хаотического избытка, рождение новой эстетики в европейском искусстве и архитектуре. Сам он был датчанин.

В тот вечер Уайт отправился на премьеру «Мамзель Шампань» в сад на крыше Медисон-сквер-гарден. Это было в начале июня, а к концу месяца нахлынувшая волна зноя стала убивать новорожденных по всем трущобам. Доходные дома раскалились, как топки, а у съемщиков не было даже питьевой воды. Водопроводные раковины в цокольных этажах домов высохли. Отцы семейств рыскали по городу в поисках льда. Конечно, растленный Таммани-Холл был уже разрушен реформаторами, но тем не менее деяги захватили поставку льда в свои руки и теперь толкали его маленькими кусочками по диким ценам. Многие выходили с подушками прямо на тротуары. Семьи спали на ступенях крылец и в дверях. Лошади падали и околевали на улицах. Санитарный департамент снаряжал ломовиков оттаскивать лошадиные трупы, но ломовиков не хватало, и трупы вздувались и лопались на жаре. Вывалившиеся кишки растаскивали крысы. И отовсюду из трущоб, над серым шмотьем, безнадежно висящим на веревках, поднимался запах жареной рыбы. Такая картина.

В удушающей летней жаре политики, алчущие переизбрания, приглашали своих сторонников на вылазки за город. К концу июля один из кандидатов провел парад по улицам Четвертого округа. Гардения в петлице. Оркестр играл Соза-марш[1 - Джон Филип Соза - автор патриотических песен типа «Звездно-полосатый флаг».] Члены Ассоциации добровольного содействия следовали за оркестром, и вся процессия промаршировала к реке, где погрузилась в полном составе на пароход «Великая республика», который взял курс вдоль Лонг-Айленда к местечку Ржаное, как раз за Нью-Рошелл. Пароход, перегруженный едва ли не пятью тысячами активистов, ужасно кренился на правый борт. Солнце жгло. Пассажиры давились на палубах, стремясь ухватить глоток воздуха. Вода как стекло. В Ржаном все выгрузились и построились для следующего парада к Павильону, где традиционная жареная рыба была сервирована целой армией официантов в белых длинных фартуках. После церемонного ленча произносились речи из оркестровой раковины. Последняя была декорирована патриотическим многофлажием. Это роскошество было обеспечено отцовской фирмой. Были также знамена с именем кандидата, написанным золотом, и маленькие американские флажки на позолоченных палочках, поставленные как сувениры на каждый стол. Послеобеденный отдых Добровольное содействие провело, употребляя пиво, играя в бейсбол и бросая подкову. Луга вокруг Ржаного были усеяны мужчинами, дремлющими в траве, прикрыв свои лики своими «дерби». Вечером столы снова были сервированы, играл военный оркестр, а затем наступила кульминация всего празднества - показ фейерверка! Младший Брат Матери прибыл сюда, чтобы лично руководить этим делом. Как ему нравилось разрабатывать рисунки фейерверка! Честно говоря, это единственное, что интересовало его в их бизнесе. Ракеты взмывали, взрываясь в наэлектризованном вечернем воздухе. Сполохи сами по себе полыхали над проливом. Огромное колесо вращающихся огней, казалось, катило по воде. Женский профиль, будто новое созвездие, отчеканился в ночном небе. Ливни огней - красных, и белых, и голубых - падали, можно сказать, как звезды, и взрывались снова, можно сказать, как бомбы. Все ликовали. Когда фейерверк завершился, были зажжены факелы, чтобы отметить путь к пристани. На обратном пути старый пароход кренился на левый борт. Среди пассажиров был и Младший Брат, который вспрыгнул на борт в самый последний момент. Перешагивая через людей, спящих на палубе, он пробрался на нос. Он стоял там, подставив воспаленное огнем и переживаниями лицо ночному бризу, пролетавшему над черной водой. Горящие глаза его были устремлены в ночь... Он думал об Эвелин.

К этому времени Эвелин Несбит была чрезвычайно занята ежедневными репетициями своих показаний на предстоящем процессе по убийству Стэнфорда

Уайта. Ей приходилось иметь дело не только с самим Фсоу, которого она навещала почти ежедневно в городской тюрьме «Могилы», но также и с его адвокатами, которых было ни много ни мало, а несколько, но также и с его матерью, вдовствующей королевой из Питсбурга, которая ее презирала, но также и с собственной матушкой, чьи самые алчные мечты о богатстве она давно уже превзошла. Пресса следовала за ней по пятам. Она старалась жить тихо в маленьком привилегированном отеле. Она старалась не вспоминать простреленную физиономию Стэнфорда Уайта. Еду ей приносили в комнаты. Она репетировала. Ко сну уходила рано, веря, что сон улучшает цвет кожи. Скуча-а-ала. Заказывала платья. Ключ к защите Гарри Кэй Фсоу состоял в том, что он как бы временно помешался из-за ее рассказа о юности, разрушенной в пятнадцатилетнем возрасте. Она была натурщицей, Ваша Честь, и начинающей актрисой. Стэнфорд Уайт пригласил ее в свои апартаменты в башне Медисонсквер-гарден и угостил шампанским. В шампанском было кое-что лишнее, Ваша Честь. Когда она очнулась, извержение уайтовского вулкана лежало на ее бедрах словно глазировка на булочках.

Однако предполагалось все-таки, что не так-то легко будет убедить присяжных, что Гарри Кэй Фсоу свихнулся только из-за этой трогательной истории. Он был всегда склонен к насилию и творил дебоши в ресторанах. Гонял авто по тротуарам. Не чурался поползновений к самоубийству и однажды выжрал полную бутылку лауданума. Держал шприцы в серебряном ящичке. Подкальывался, стало быть. У него была привычка стискивать кулаки и бить ими в собственные виски. Он был властным и надменным собственником и до психоза ревнив. Перед их женитьбой он состряпал план, по которому Эвелин должна была подписать свидетельство о том, что Стэнфорд Уайт избивал ее. Она отказалась и пожаловалась Уайту. Тогда Гарри поволок ее в Европу, чтобы не беспокоиться уже, что Стэнфорд Уайт где-то ждет своей очереди. Мать Эвелин сопровождала ее в качестве дуэньи. Они отплыли на «Кронпринцессе Сесили». В Саутгемптоне Гарри откупился от мамы и поволок Эвелин одну на континент. В конце концов они прибыли в арендованный заранее древний горный замок в Австрии – шлосс Катценштайн. В первую же ночь он стащил с нее платье, швырнул ее поперек кровати и приложился псовым хлыстом к ее ягодичкам. Вопли ее эхом разносились по коридорам и каменным лестницам. Немецкие слуги в своих каморках слушали эти дикие звуки, краснели, открывали бутылки «Гольдвассера» и совокуплялись. Ужасные красные рубцы обезобразили нежную плоть Эвелин. Она плакала и причитала всю ночь. Утром Гарри вернулся, на этот раз для разнообразия с ремнем для правки бритвы. Она была прикована к кровати на недели. Во время ее выздоровления он приносил ей стереоскопические слайды Шварцвальда и Австрийских Альп. Он был теперь

изящен в любовных делах и особенно заботлив к нежным местечкам. Тем не менее она решила, что они, как говорится, не сошлись характерами. Она потребовала, чтобы ее отослали домой. Ее мать давно уже вернулась, когда она в полном одиночестве поплыла домой на «Кармании». В Нью-Йорке Эвелин немедленно отправилась к Стэнфорду Уайту, чтобы поведать ему о случившемся. Она показала ему следы истязания на внутренней стороне правого бедра. Боги, сказал Стэнфорд Уайт. Поцеловал пятнышко. Она показала ему небольшую пигментацию, желтенькое и пурпурненькое на левой ягодичке, там, где это загибалось к расселине. Как ужасно, сказал Стэнфорд Уайт. Поцеловал местечко. На следующее утро он послал ее к адвокату, который подготовил ее показания о драме в шлоссе Катценштайн. Эвелин подписала показания. Теперь, дарлинг, когда Гарри вернется, обрадуй его этим. Стэнни Уайт широко улыбался. Она выполнила все инструкции. Гарри Кэй Фсоу прочел показания, немедленно побледнел и тут же предложил жениться. Вот так хористочка иной раз может обстряпать дело лучше любой из девок «Флорадоры».

И вот теперь Гарри заклеен позором и сидит в тюрьме. Его камера была в «Галерее убийц», на верхнем ярусе мрачных «Могил». Каждый вечер стража приносила ему газеты, так что он мог следить за подвигами своих фаворитов – команды «Питтсбург нейшнлз» и их звезды Хонуса Вагнера. Читая о бейсболе, он наткался, конечно, и на собственное дело. Он проглядывал все газеты – «Уорлд», «Трибюн», «Тайм», «Ивнинг пост», «Джорнэл», «Геральд». Закончив чтение, он складывал газеты, подходил к решетке и колотил ими по прутьям, пока газетный жгут не распадался на части и не опадал, порхая и паря, на шесть этажей вниз через главную пещеру, или, если угодно, пролет тюрьмы, вокруг которого располагались ярусами камеры-клетки. Его поведение просто восхищало стражу. Не так уж часто они имели дело с людьми такого класса. Фсоу не очень-то был увлечен тюремной пищей, и поэтому ему приносили еду из «Дельмонико». Зато он любил чистоту, и потому тюремщики ежедневно меняли ему белье – свежее каждое утро доставлялось его камердинером к воротам «Могил». Он недолюбливал, надо сказать, негров, и потому его заверили, что ни одного черного нет в окрестностях его камеры. Фсоу не был безразличен к любезности надзирателей. Свою благодарность он показывал не таясь и в самом безупречном стиле, комкая и разбрасывая по полу двадцатидолларовые купюры и смеясь над свиньями, что ползали у его ног и унижались, подбирая эту шелуху. Стража была счастлива. Репортеры набрасывались на них, когда они выходили из «Могил» в конце смены. Страшное возбуждение охватывало газетную братию, когда ежедневно пополудни прибывала Эвелин, которая, казалось, даже похрустывала в своем жакете с высоким воротником и в плиссированной юбке. Супругам тогда разрешалось прогуливаться по «Мосту вздохов» – стальному

переходу между «Могилами» и зданием уголовного суда. Фсоу ходил каким-то ныряющим, голубиным шажком, походкой человека с повреждением мозга. У него были широкий рот и вылупленные кукольные глаза – внешность скрытого педа Викторианской эпохи. Иногда его видели дико жестикулирующим, в то время как Эвелин стояла, склонив голову, лицо в тени шляпы. Иногда он обращался к администрации с просьбой о комнате для консультаций. Надзиратель, дежуривший возле двери консультационной, основываясь на наблюдениях через «глазок», заявлял, что Фсоу иногда там внутри плакал, а иногда просто держал свою подругу за руку. Иногда он шагал взад-вперед и колотил себя кулаками в виски, пока она лишь молча взирала в зарешеченное окно. Однажды он потребовал доказательства ее преданности, впрочем, это оказалось не чем иным, как феллацио. Станным образом упершаяся в живот Фсоу широкополая шляпа Эвелин с пучком сухих цветов на тулье медленно оторвалась от ее прически. Потом он смел опилки с передка ее юбки и угостил ее несколькими банкнотами из своего бумажника.

Эвелин говорила репортерам, поджидавшим ее возле «Могил», что ее муж Гарри Кэй Фсоу невиновен. Процесс покажет, что мой муж Гарри Кэй Фсоу невиновен, говорила она, садясь в электрический экипаж, предоставленный ей августейшей свекровью. Шофер закрывал за ней дверцу. Внутри экипажа она плакала. Уж кто-кто другой, а она-то хорошо знала о невиновности Гарри. Она согласилась свидетельствовать в его пользу за двести тысяч долларов. За развод она собиралась слупить и побольше. Пальчики ее вдруг начинали суетливо бегать по обшивке. Слезы высыхали. Странная горькая экзальтация охватывала ее сердце, и она наконец застывала с холодной победоносной улыбкой на устах. Она выросла в уличной пыли шахтерского городка в Пенсильвании. Она стала скульптурой-кич, которую Стэнни Уайт водрузил на вершину башни Медисонсквер-гарден, – gloria, обнаженная бронзовая Диана, лук натянут, лик в небесах.

По удивительному совпадению в этот момент нашей истории угрюмый романист Теодор Драйзер ужасно страдал от плохих рецензий и мизерной продажи своей первой книги «Сестра Керри». Он был разбит, не мог работать и стыдился смотреть людям в глаза. Он снял мебелирашку в Бруклине и сидел там на деревянном стуле посреди комнаты. Однажды он решил, что стул смотрит в неверном направлении. Изъяв свое тело из стула, он взял последний двумя руками и повернул вправо, то есть приблизил его к истине. На минуту он подумал, что добился своей цели, но тут же жестоко разочаровался. Он еще раз повернул стул вправо. Посидел на нем немного, но снова почувствовал себя не в своей тарелке. Еще один поворот. В конечном счете он описал полный круг, но

так и не нашел истинного направления. День угасал за грязным окном мебелишки. Всю ночь Драйзер поворачивал свой стул по кругу в поисках верной магистрали.

5

Не только надвигавшийся процесс Фсоу волновал общественность «Могил». Два надзирателя в свободное от работы время разработали ножные кандалы и объявили, что они превосходят стандартную экипировку. Они вызвали самого Гарри Гудини испытать их детище. Однажды утром волшебник прибыл в кабинет директора «Могил» и был там сфотографирован сначала пожимающим руку директора, затем в обнимку со смеющимися изобретателями. Перебрасывался остротами с репортерами. Раздал кучу бесплатных билетов. Тщательно рассмотрел новое изделие. Принял вызов. Конечно, он выберется из этих кандалов на предстоящем вечернем представлении на ипподроме Кейз, но сейчас – пресса, внимание! – он бросает свой собственный вызов: пусть его разденут и запрут в камере, а вещи положат снаружи; когда все уйдут, он исхитрится выйти из камеры и через пять минут явится в кабинет директора полностью одетый. Директор колебался. Гудини выразил удивление. Все-таки он, Гудини, принял вызов надзирателей без колебаний. Быть может, господин директор не уверен в собственной тюрьме? Репортеры взяли его сторону – еще бы! Зная, какой бифштекс сделают из него газеты, если он откажется соответствовать, директор согласился. Он верил в надежность своих клеточек. Стены его кабинета были бледно-зелеными. Фотографии матери и жены стояли на столе. Коробка сигар и графин ирландского виски. Добавьте к этому новый телефон. С говорилкой в одной руке и с наушником в другой директор выглядел весьма значительным перед прессой.

Некоторое время спустя совершенно обнаженного Гудини провели через шесть пролетов вверх в «Галерею убийц» на верхнем ярусе тюрьмы. Дирекция была не лыком шита: здесь было меньше клиентов, и предполагалось, что камеры абсолютно надежны. Надзиратели заперли Гудини в пустой клетке. Его одежда аккуратной кучкой была сложена на галерее вне досягаемости. Затем стража и репортеры удалились и отправились по уговору в директорский кабинет. Гудини в различных укромных местах собственной персоны пронес маленькие стальные проволочки и кусочки пружины. Сейчас он провел ладонью вдоль подошвы левой ноги и из трещинки на мозоли, что на левой пятке, извлек полоску металла в

четверть дюйма шириной и полтора дюйма длиной. Из густых его волос явилась на свет жесткая проволока, которую он присобачил к железочке на манер ручки. Он просунул руку через решетку, вставил импровизированный ключ в замок и медленно стал крутить его по часовой стрелке. Дверь клетки качнулась и открылась. В этот момент Гудини осознал, что прямо напротив через мрачную пещеру камера ярко освещена и обитаема. Сидевший там заключенный пристально смотрел на него. Широкое плоское лицо его со свинячьим носом, растянутый рот и глаза, неестественно яркие и большие. Линия гладко зачесанных назад волос образовывала на лбу странный полумесяц. Иллюзионист Гудини подумал, что это лицо подставной куклы чревовещателя. Он сидел за накрытым скатертью столом с остатками шикарной жратвы. Пустая бутылка из-под шампанского горлышком была всунута в ведро со льдом. Железная койка покрыта стеганым одеялом и разбросанными подушками. Шкаф эпохи Регентства стоял у каменной стены. С балки потолка свешивался абажур от Тиффани. Гудини не мог оторваться. Камера сверкала, как сцена, в вечном сумраке этой пещерной тюрьмы. Узник встал и махнул ему весьма величественным жестом, широкий рот еще более растянулся в подобии улыбки. Гудини быстро начал одеваться. Подштанники, брюки, носки, подвязки, обувь. Через пролет напротив узник приступил к раздеванию. Гудини надел нижнюю рубашку, сорочку, воротничок, завязал галстук, воткнул булавку. Щелчок – подтяжки! Теперь – пиджак! Узник был теперь гол, как только что Гудини. Он приблизился к решетке и в сокрушительно непристойной манере стал бить в нее бедрами и просовывать пенис. Гудини ринулся прочь по галерее.

Гудини решил никому не говорить об этой престраннейшей конфронтации. На торжестве по поводу его тюремного подвига он был непривычно тих и даже как бы подавлен. Даже очереди в кассы после газетных репортажей не оживили его. Эскапада с ножными кандалами, на которую понадобилось ему меньше двух минут, вообще не принесла никакого удовольствия. Прошли дни, прежде чем он догадался, что тот гротескный мим в «Галерее убийц» был не кто иной, как Гарри Кэй Фсоу. Люди, не уважавшие его искусства, глубоко огорчали Гудини. Он пришел к выводу, что все они без исключения принадлежат к высшим классам. Они разрушали смысл его жизни и заставляли чувствовать себя дураком. Чего греха таить, он был честолюбив, любое развитие техники лишало его покоя. В жалких рамках сцены он творил свои чудеса и вызывал благоговение низов общества, а тем временем настоящие мужчины начинали поднимать в воздух самолеты и разгоняли автомобили до скорости 60 миль в час. Явился такой деятель, как Рузвельт, и атаковал испанцев на холме Сан-Хуан, и послал в бой флот белых кораблей, дымивших на полнеба, флот боевых судов, белых, как его зубы. Богатые знали, что важно, а на Гудини они смотрели

как на ребенка или придурка. Между тем бесконечная тренировка, которую он навязал сам себе, его стремление к совершенству в своем деле отражали американский идеал. Он поддерживал свой атлетизм. Не курил, не пил. Ни одного лишнего фунта. Мощь. Напрягая мускулы живота, он с улыбкой приглашал любого желающего вцепиться ему панч любой силы. Колоссальная мускулатура, ловкость и профессиональная отвага. Для богатеньких же все это было чепухой.

Новинкой в его программе была эскапада, в которой он освобождался из банковского сейфа, а минуту спустя в этом же сейфе оказывался скованный наручниками его ассистент, которого публика только что видела на сцене. Гигантский успех. Однажды вечером перед представлением антрепренер сказал Гудини, что их приглашает сама миссис Стивезант-Рыбчик с 78-й улицы, приглашает выступить у нее на балу. Миссис Рыбчик принадлежала к Четырем Сотням. Она была знаменита своим остроумием. Представьте, однажды она дала «Бал детского лепета». Сейчас она устраивала бал в память своего друга Стэнфорда Уайта. Являясь другом, он был и архитектором ее дома. Он построил ей дом в стиле Дворца дождей. «Дождь, господа, – это шеф городской управы в Генуе и в Венеции. У меня нет ничего общего с людьми этого сорта», – сказал Гудини своему антрепренеру. Исполнительный антрепренер сообщил миссис Рыбчик, что мистер Гудини отсутствует в наличии. Она удвоила гонорар. Бал был первым событием нового сезона. Около девяти вечера Гудини подъехал к ее дому в наемном «Пирс-Эрроу». Его сопровождали антрепренер и ассистент. За ними следовал грузовик с реквизитом. Кортёжу указали на задний подъезд.

Гудини не знал, что миссис Стивезант-Рыбчик, кроме него, пригласила еще полностью шоу из цирка Барнума и Бейли. Она любила ошарашить своих чистоплюев. Гудини был проведен в своего рода комнату для ожидания, где его вдруг окружила толпа уродцев. Все они знали Гудини и мечтали хотя бы дотронуться до него. Твари с чешуйчатой переливающейся кожей и кистями рук, прикрепленными прямо к плечам. Карлики с телефонными голосами. Сиамские близнецы-сестрички, тянувшие друг друга в разные стороны. Тяжеловес, никогда не снимавший страшные стальные круги со своих грудей. Гудини снял крылатку, цилиндр, белые перчатки и передал все это своему ассистенту. Затем упал в кресло. Чудища, шепелявя и плюясь, тянулись к нему.

Между тем комната сама по себе была очень хороша: с резным деревянным потолком и фламандскими гобеленами, изображавшими Актеона, разрываемого псами.

На заре своей, так сказать, карьеры Гудини работал в маленьком цирке на западе Пенсильвании. Чтобы вернуть самообладание, Гудини вспомнил этот цирк и призвал на помощь верность своему жанру. Тут одна карлица отделилась от остальной своры и заставила всех отступить на несколько шагов. Гудини узнал выдающуюся личность – Лавинию Уоррен, вдову Генерала Тома Большой Палец, самого знаменитого карлика всех времен. Лавиния Уоррен Большой Палец была одета в сногшибательное платье, предоставленное ей миссис Рыбчик: предполагалась шутка над соперницей сегодняшней хозяйки миссис Уильям Астор, которая появлялась точно в таком же туалете прошлой весной. Лавиния Большой Палец и причесана была под леди Астор, и украшена сверкающими копиями асторовских брильянтов. Лавинии было под семьдесят, она несла себя с достоинством. После их свадьбы, полсотни лет назад, она и Генерал Том были приняты в Белом доме президентом Линкольном с супругой. Гудини чуть не плакал. Лавиния больше не работала в цирке, но для этого вечера приехала в Нью-Йорк из Бриджпорта, где у нее был дом в старом стиле. Поддержание дома влетало в копеечку, потому вдова и взялась за эту малоприглядную работу. Она жила в Бриджпорте, чтобы быть поближе к могиле своего мужа, чья память была увековечена монументальной колонной на кладбище Маунтейн-гроув. Рост ее – два фута. Она приблизилась к коленям Гудини. С возрастом ее голос стал ниже, и сейчас она говорила как нормальная двадцатилетняя девушка. Такие блестящие голубые глаза, серебряные волосы и чудеснейшие лучики морщинок на белой коже. Она напомнила Гудини его маму. Ну-ка, малый, кинь пару-тройку фокусов для нас, сказала Лавиния.

Гудини позабавил цирковой люд простенькими трюками и ловкостью рук. Положил в рот бильярдный шар, закрыл рот, затем, естественно, открыл его – шар исчез. Тогда он снова закрыл рот и, открыв его, на этот раз вынул оттуда бильярдный шар. Воткнул швейную иглу в щеку и вынул ее изнутри. Раскрыл ладонь и произвел на свет живого цыпленка. Вытянул из уха моток цветного шелка. Уродцы пришли в восторг. Они аплодировали и смеялись. Гудини встал и заявил своему менеджеру, что не будет выступать для миссис Стивезант-Рыбчик. Антрепренер бросился с увещеваниями. Гудини распахнул дверь во внутренние покои. Блеск хрусталя ослепил его. Он был в огромном бальном зале Дворца дождей. Струнный оркестр наярывал с балкона. Бледно-красная драпировка обрамляла окна-фонари. Четыре сотни народу вальсировало на мраморном полу. Прикрыв ладонью глаза, Гудини увидел миссис Рыбчик собственной персоной. Бесценные перья поднимались над кучей ее волос, веревки жемчугов раскачивались на шее и бились на грудях, остроумие лопалось на ее губах, подобно пузырям эпилептика.

Несмотря на свои опыты, Гудини так и не развил в себе то, что мы называем «политическим сознанием».

Он не мог сделать выводов из своих оскорбленных чувств. И до конца дней своих так и не осознал своего предназначения, не мог представить себе свою жизнь как отражение революционных событий времени. Он был еврей. Настоящее имя – Эрих Вайс. Он был страстно влюблен в свою древнюю матушку, жившую вместе с ним в типичном для Нью-Йорка кирпичном буром доме, так называемом «браунстоуне», на 113-й улице, Уэст. Как раз в Америку прибыл Зигмунд Фрейд, чтобы прочесть серию лекций в Университете Кларка, в Вустере, штат Массачусетс, и, значит, Гудини предназначено было стать вместе с Элом Джолсоном[2 - Эл Джолсон – певец, исполнитель сентиментальных песенок.] одним из великих бесстыдников-эдипов (движение XIX века, которое включало в себя таких людей, как По, Джон Браун, Линкольн и Джеймс Мак-Нейл Уистлер[3 - Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер (1834–1903) – живописец и график] Конечно, Америка не сразу приняла Фрейда. Горстка профессиональных психиатров понимала его значение, но для большинства публики он был немец-перец-колбаса, эдакий умник, проповедующий свободную любовь и пользующийся научными словами специально для того, чтобы говорить «пошлости». По крайней мере десятилетие должно было пройти, пока Фрейд не отомстил и не увидел, как его идеи начали разрушать сексуальную жизнь в Америке – навсегда.

6

Фрейд прибыл в Нью-Йорк на ллойдовском лайнере «Джордж Вашингтон». Его сопровождали два последователя и помощника – Юнг и Ференци. На пристани их встретили два молоденьких фрейдиста, доктора Эрнест Джонс и Эй Эй Брилл. Компания обедала в Хаммерстайновском Саду-на-Крыше. Пальмы в кадках. Пианино и скрипка дуэтом играли «Венгерскую рапсодию» Листа. Фрейдисты без устали разговаривали вокруг Фрейда, то и дело поглядывая на него, чтобы оценить его настроение. Он ел кефир. Брилл и Джонс играли роль хозяев. В последующие дни они показали Фрейду Центральный парк, музей «Метрополитен» и китайский квартал. Китайцы, как кошки, загадочно взирали на Фрейда из темных лавчонок. Стеклянные шкафы с орехами «литчи». Компания отправилась и в кинематограф – развлечение, вошедшее в моду по всему городу. Белый дым поднимался из ружейных стволов, мужчины, намазанные губной помадой и румянами, падали навзничь, сжимая свои грудные

клетки. По крайней мере, думал Фрейд, это беззвучно. Шум – вот что угнетало его в Новом Свете. Ужасный грохот ломовиков, лязганье и скрежет трамваев, сигналы автомобилей. За рулем открытого «Мэрмона» Брилл возил фрейдистов по Манхэттену. В одном месте на Пятой авеню Фрейд забеспокоился: ему показалось, что кто-то за ним наблюдает; подняв глаза, он увидел детей, глазевших на него с верхушки двухъярусного автобуса.

Брилл повез компанию в Нижний Ист-Сайд с его театриками, тележками разносчиков и надземными поездами. Устрашающая надземка грохотала мимо окон, за которыми, как можно было предположить, живут люди. Окна тряслись, тряслись и сами дома. Фрейд столкнулся с необходимостью облегчиться, но никто, очевидно, не мог им показать, где найти нужную общественную возможность. Пришлось зайти в ресторан и заказать сметану с овощами, чтобы Фрейд смог сбегать в сортирчик. Затем снова в авто; они подъехали к углу, чтобы понаблюдать, как работает уличный художник. Некий старик одними лишь ножницами вырезал из бумаги миниатюрные силуэтные портреты и брал за это гроши. В этот момент позировала старику красивая, хорошо одетая женщина. Легковозбудимый Ференци, маскируя свое восхищение прехорошенькой дамочкой, декларировал коллегам, что он потрясен и счастлив найти древнее искусство силуэта расцветающим на асфальтах Нового Света. Фрейд, сжав зубами сигару, не сказал ничего. Мотор работал вхолостую. Один лишь Юнг заметил Малышку в передничке, стоявшую чуть позади молодой леди и державшую ее за руку. Малышка глянула на Юнга, и бритоголовый Юнг, который начал уже к тому времени спорить по некоторым решающим проблемам со своим любимым Ментором, посмотрел сквозь свои толстые в стальной оправе очки на чудное дитя и испытал то, что он обозначил бы как некий «шок узнавания», хотя и не мог объяснить, почему и что это такое. Брилл нажал педаль сцепления, и компания продолжила свой тур. Их конечной целью был Кони-Айленд, довольно далеко от города. Они прибыли туда под вечер и тут же включились в странствие по трем огромным развлекательным паркам – начали со стипль-чеза, затем попали в Страну Мечты и наконец, уже к ночи, прибыли в Луна-парк, к башням и куполам, очерченным электрическими пузырьками. Почтенные визитеры покатались на горбатых горках «ну-ка догони», а Фрейд и Юнг даже проплыли вместе в одной лодке через Тоннель Любви. День подошел к концу, лишь когда Фрейд устал и почувствовал приступ той дурноты, которая стала его недавно посещать в присутствии Юнга. Через несколько дней компания в полном составе отправилась в Вустер на лекции. Когда Фрейд закончил цикл лекций, его убедили совершить экспедицию к чуду естественной природы – Ниагарскому водопаду. Они прибыли туда пасмурным днем. Тысячи молодоженов стояли парочками, наблюдая великие каскады. Водяная пыль,

подобно перевернутому дождю, вздымалась над местностью. С одного берега на другой была перекинута проволока, и по ней гулял какой-то маньяк в балетных тапочках и трико, с зонтиком-балансиром. Фрейд потряс головой. Позже компания зашла в Пещеру Ветров. Здесь на подземном переходном мостике гид отодвинул всю остальную публику назад, а Фрейда взял под локоть. «Дайте-ка папаше пройти вперед», – сказал гид. Пятидесятитрехлетний доктор решил в этот момент, что Америки с него достаточно. Вместе с учениками он отплыл назад в Германию на «Кайзере Вильгельме Великом». Он действительно не смог привыкнуть к пище и нехватке общественных возможностей. Он убедился, что путешествие разрушило ему и желудок, и мочевой пузырь. В целом население показалось ему мощным, наглым и грубым. Вульгарное оптовое потребление европейского искусства и архитектуры, невзирая на период или страну, он нашел устрашающим. Он усмотрел в нашем беззаботном смешении сверхбогатства и сверхбедности хаос энтропической европейской цивилизации. Не без удовольствия он передохнул в своем тихом уютном венском кабинете. Америка – это ошибка, сказал он Эрнесту Джонсу, гигантская ошибка. К тому времени немало людей на этих берегах готовы были с ним согласиться. Миллионы безработных. Счастливики, заполучившие работу, имеют наглость объединяться в союзы. Суды ликуют, полиция колотит профсоюзников по башкам, их лидеры в тюрьме, рабочие места заняты другими. Профсоюз – это дьявольский промысел. О рабочем человеке позаботятся не агитаторы, а христиане – те, кому господь в его бесконечной мудрости дал контроль над собственностью в этой стране. Если никто сему не внимал, вызывались войска. Оружие было пущено в ход повсеместно. В угольных копях шахтер получал доллар и шестьдесят центов при условии трех тонн ежедневной выработки. Компания держала его в своих лачугах и кормила из своих магазинов. Негры на табачных плантациях вкалывали по тринадцать часов в день, получая по шесть центов в час. Дети не страдали от дискриминации. Работодатели весьма ценили детвору. В отличие от взрослых они не жаловались. Эдакие эльфы, маленькие проказники. Существенной проблемой, конечно, была их выносливость. Они были проворнее взрослых, но к концу рабочего дня резко снижали производительность труда. В эти часы на консервных фабриках и заводах нет ничего легче, чем потерять пальцы, покалечить руку, сломать ногу. Детей, конечно, следует призывать к внимательности. В шахтах дети работали на откатке угля и иногда задыхались в штреках. Естественно, им рекомендовали в опасных случаях проявлять сообразительность. Одна сотня негров в год линчевана. Одна сотня шахтеров сгорела заживо. Одна сотня детей искалечена. Казалось, существовала квота на эти дела. Определенная квота и для смерти от истощения. Нефтяные тресты, банковские тресты, железнодорожные тресты, мясные тресты, стальные тресты – тресты повсюду. Стало модным почитать

бедность. Во дворцах Нью-Йорка и Чикаго закатывали «балы нищих». Гости приходили одетые в тряпье, ели из оловянных тарелок и пили из дешевых кружек. Залы были декорированы под шахты с креплениями из бревен, с рельсами и шахтерскими лампочками. Фирмам театральных декораций давали заказы на трансформацию садов в грязные фермы, а столовых – в хлопковые фабрики. Гости курили сигарные окурки, которые разносились на серебряных подносах. Артисты выступали в негритянском гриме. Одна чикагская аристократка пригласила гостей на хозяйственный двор. Гостей одели как мясников. Они пировали и танцевали, пока вокруг на блоках двигались окровавленные туши. Кишки вываливались на пол. Это, конечно, был благотворительный бал.

7

Однажды после визита в «Могилы» Эвелин Несбит случайно заметила через заднее оконце электрического экипажа, что впервые никто из репортеров ее не преследует. Обычно Херстовские и Пулицеровские псы гнали ее сворой.

Подчиняясь импульсу, она сказала шоферу свернуть к Ист-Сайду. Слуга мамани Фсоу позволил себе нахмуриться. Эвелин как бы не заметила. Машина шла по городу, мотор жужжал. Вторая половина дня. Тепло. Черный «Детройт Электрик» на жестких резиновых шинах. Через некоторое время Эвелин увидела разносчиков и тележки Нижнего Ист-Сайда.

Темноглазые лица заглядывали в экипаж. Мужчины улыбались – золотые зубы из-под усищ. Дорожные рабочие сидели в жаре на обочине тротуара и обмахивались своими «дерби». Мальчишки в брючатах гольф неслись рядом с машиной, таща на своих плечах увесистые грузы. Эвелин видела магазинчики с вывесками на иврите. Древние буквы напоминали какие-то сооружения из костей. Пожарные лестницы на домах были похожи на ярусы в тюремных блоках. Дряхлые одры в своих ярах тоже поднимали головы, чтобы взглянуть на леди. Старьевщики ворочали двухколесные тележки с хламом, женщины торговали хлебами из корзин. Все смотрели на леди. Шофер нервничал. На нем была серая ливрея с черными кожаными отворотами. Он вел сверкающий экипаж сквозь узкие грязные улицы. Девочка в передничке и в ботиночках с высокой шнуровкой, сидя на краю тротуара, копошилась в какой-то мерзости, играла.

Малышка с грязной рожицей. «Остановите машину», – сказала Эвелин. Шофер обежал вокруг и открыл ей дверцу. Эвелин ступила вниз, на улицу. Она присела. У девочки были прямые черные волосы, обхватывающие ее голову будто шлем. Оливковая кожа и глаза – темно-карие, почти черные. Она взирала на Эвелин без всякого любопытства. Никогда прежде Эвелин не видела столь красивое дитя. Вокруг ее запястья была обмотана какая-то бечевка, она была к чему-то привязана. Эвелин встала и, проследив направление бечевки, увидела лицо явно тронутого старика с обкорнанной седой бородой. Конец веревки был обмотан вокруг его талии. На нем был вытертый пиджак. Один рукав оторван. Однако же воротничок с галстуком. Он стоял на тротуаре перед тележкой со щитом, обтянутым черным бархатом, к которому приколоты были силуэтные портреты. При помощи одних только маленьких ножниц, кусочка бумаги и капли клея он мог запечатлеть ваш образ, вернее его контуры. Все произведение на темном фоне и в рамочке стоило лишь пятнадцать центов. «Пятнадцать центов, леди», – сказал старик. «Почему вы привязываете малышку за веревку?» – спросила Эвелин. Старик выпучился на ее наряд, потом захохотал, затряс головой и забормотал что-то непонятное. Он отвернулся от леди. Между тем вокруг остановившегося авто собралась толпа. Высокий рабочий выступил вперед и уважительно снял шапку перед тем, как перевести Эвелин то, что наговорил тронутый старик. «Звиняюсь, миссус, так Малышка есть не украденная из него». Эвелин чувствовала, что переводчик кое-что дипломатично смягчил. Старый художник с горьким хохотом выпятил подбородок в сторону Эвелин, очевидно продолжая свои недипломатичные высказывания. «Он говорит, богатая леди не бывает знать, что девочки в трущобах есть украдены каждый день из их родителей и проданы в рабство». Эвелин была потрясена. «Этому ребенку не больше десяти», – сказала она. Старик тогда стал кричать и показывать через улицу на какой-то жилой дом, поворачивался, и показывал на угол, и тыкал через плечо на другой угол, и все кричал. «Звиняюсь, миссус, – сказал высокий рабочий, – замужние женщины, дети... эти мерзавцы на кого угодно наложат лапу. Они их спортят, так? опозорят, так? звиняюсь, женщина становится бродяжкой, ведь верно? Как раз на этой самой улице такие есть позорные дома, миссус». – «Где же родители ребенка?» – резко спросила Эвелин. Старик сейчас обращался к толпе, колотил себя в грудь, вздымал палец в небо. Женщина в черной шали качала головой и постанывала от сочувствия. Старик сорвал шапку и потащил себя за волосы. Даже высокий рабочий забыл переводить, так он был тронут происходящим. «Звиняюсь, миссус, этот человек есть отец ребенка. – Он слегка подергал художника за оторванный рукав. – Собственная жена, чтобы им кушать, предлагала себя, а он ее турнул из дома и сейчас плачет, как по покойнице, звиняюсь. Его волос стал белый за один месяц. Он имеет тридцать два года возраст, звиняюсь, миссус».

Старик, всхлипывая и кусая губы, повернулся к Эвелин и увидел, что она тоже глубоко тронута. Все стоявшие сейчас на углу на какой-то момент разделили его несчастье – Эвелин, ее шофер, рабочий, женщина в шали, зеваки. Потом кто-то двинулся дальше. Отошел другой. Толпа рассеялась. Эвелин вернулась к Малышке, еще сидевшей на краю тротуара. Она присела, глаза ее увлажнились, она заглянула в лицо Малышке, которая и не думала плакать. «Эй, тыквочка», – сказала Эвелин.

Так внезапно Эвелин погрузилась в жизнь тридцатидвухлетнего одряхлевшего художника и его дочери. У него было длинное еврейское имя, которое ей не под силу было произнести, и она стала называть его так, как звала Малышка: Тятей. Тятя был президентом Социалистического содружества художников Нижнего Ист-Сайда. Гордый человек. Эвелин обнаружила, что невозможно приблизиться к нему иначе, как заказав силуэт. За две недели старик произвел сто сорок силуэтных портретов Эвелин Несбит. За каждый она платила ему 15 центов. Иногда она заказывала портрет Малышки. Тятя произвел их около сотни и потратил на них больше времени, чем на портреты благородной леди. Потом Эвелин попросила сделать двойной портрет – она с Малышкой. Старик тогда посмотрел ей прямо в лицо, страшное иудейское осуждение, казалось, вспыхнуло в его глазах. Тем не менее он сделал то, о чем его просили. Время шло, и для Эвелин стало ясно, что, хотя люди и останавливаются поглазеть на работу старика, мало кто изъявляет желание увековечиться. Он начал создавать все больше и больше сложных силуэтов, полнофигурных и с фонами: Эвелин, Малышка, трудолюбивые ломовые лошади, пятеро мужчин в жестких воротничках, сидящие в открытой машине. Своими ножницами он умудрялся показать не только очертания, но и структуру предметов, настроение персонажей, характеры, отчаяние. Большинство этих вещей сейчас находится в частных коллекциях. Эвелин приезжала на уголок ежедневно и проводила там столько времени, сколько могла. Она одевалась так, чтобы по возможности не привлекать внимания. Следуя полезным урокам своего мужа Фсоу, она платила шоферу огромные деньги за его благодушие и сочувствие. Хроникеры светских сплетен тем временем связывали ее исчезновение с каким-то безрассудным романом, по крайней мере, дюжина мужчин пристегивалась к ее имени. Чем меньше ее видели, тем пышнее разрасталась клевета. Ей было все равно. Она ускользала к своей новой любви на Нижний Ист-Сайд. Она покрывала голову шалью, а на корсет надевала траченный молью черный свитер – преданный шофер прятал эти вещички под ковром в ее экипаже. Она подходила к Тяте, позировала для очередного силуэта, а глаза ее ликовали, пировали, глядя на малое дитя на другом конце веревки. Она будто бы рассудок потеряла. Все это время у нее не было ни одного мужчины, если не считать безумного мужа Гарри

Кэй Фсоу. Впрочем, она заметила тайного воздыхателя, молодого человека с высокими скулами и светлыми усиками. Он следовал за ней повсюду. Впервые она увидела его на Тятином углу: он топтался на другой стороне улицы и немедленно отвернулся, поймав ее вызывающий взгляд. Она знала, что свекровь наняла частных детективов, но он был слишком застенчив для сыщика. Ясно, что он разузнал что-то о ее повседневной жизни, но не решался даже приблизиться, такой застенчивый. Его внимание не пугало ее, напротив, она чувствовала себя даже как бы под некоторой защитой. Восхищение его было очевидным, и это как будто бы соответствовало интенсивности ее собственных чувств в это время. Ночами она грезилась о Малышке и просыпалась с мыслями о ней. Планы на будущее фейерверками вспыхивали в ее сознании и осыпались, чтобы снова взлететь. Она была полна тревоги, измучена, возбуждена и безотчетно счастлива. Конечно, она будет свидетельствовать в пользу мужа и сделает это как надо. Конечно, она надеялась, что его признают виновным и присудят к пожизненному заключению.

Малышка в передничке брала ее за руку, но ни разу не сказала ей ни слова. Тятя, прямо скажем, тоже был не особенно разговорчив. Больше Эвелин уже никогда не слышала никаких сетований или жалоб. Она понимала, что старик с его гордыней давно выкинул ее куда-то вон, ибо он даже не ощущал, что ее внимание к Малышке было ему подмогой. Однажды Эвелин пришла позировать и – вот тебе на! – не нашла на углу ни папы, ни дочки. К счастью, она уже разузнала, где они живут – на Хестер-стрит, за общественной баней. Она поспешила туда, не смея даже думать, что могло случиться. Хестер-стрит кишела торговцами овощами, фруктами, цыплятами, хлебами, тележками, покупателями, мусорными баками, постельным бельем, свисающим с пожарных лестниц, – этим она кишела, если всем этим можно кишеть. Эвелин полетела по железным лестницам, часто дыша взбежала в исключительно вонючий коридор. Тятя и Малышка жили в двух маленьких комнатках на задах. Она постучала. Постучала снова. Дверь приоткрылась. Щель. Цепочка. «Что случилось? – выдохнула Эвелин. – Дайте мне войти».

Тятя был скандализован: вот так событие – он перед дамой в одной лишь рубашке, в штанах на подтяжках и в шлепанцах. Он настоял, чтобы дверь осталась открытой, несмотря на вонючий сквознячок, дувший с лестничной клетки. Суетливо он прибрал свою лежанку, бросив сверху какое-то лоскутное одеяло. Малышка лежала на медной кровати в другой комнате. У нее был жар. Комнаты освещались свечкой, так как единственное окно в спальне упиралось в глухую стену. Эвелин подумала, что вся эта квартира не больше ее платяного шкафа. Когда ее глаза привыкли к полумраку, она определила, что здесь царит

скрупулезная чистота. Ее приход совершенно ошеломил художника. В колеблющемся мрачном свете он вышагивал взад-вперед, не зная, что предпринять. Схватил сигарету, нервно затягивался, держа ее большим и указательным пальцами, ладонью кверху – на европейский манер. Эвелин настаивала: она побудет с ребенком. Он может спокойно трудиться. Все будет хорошо. В конце концов он согласился, может быть только лишь для того, чтобы избавиться от жуткого напряжения в связи с ее присутствием. Схватив свой стенд, обтянутый черным бархатом, и деревянный чемодан с принадлежностями искусства, он ринулся прочь. Эвелин закрыла за ним дверь. Заглянула в буфетик – несколько чашек и тарелок, что за бедная посуда, откуда такое. Затем она обследовала содержимое комода, постельное белье, внимательно рассмотрела выскобленный добела обеденный стол и стулья. Кучка незаконченных штанишек лежала возле швейной машины с узорчатой железной педалью. Вот след матери. Эвелин вдруг почувствовала что-то вроде родства с пропавшей беспутной Мамкой. В окне спальни отражалась свеча. Медная маленькая кроватка светилась. Девочка смотрела на Эвелин из подушек, не улыбаясь и не говоря ничего. Эвелин сняла шаль и свитер и положила эти вещи на стул. В упаковочном ящике, находившемся возле кровати в роли ночного столика, плотно стояли книги на идиш. Были здесь и англоязычные книги по социализму, на обложках которых могучие пролетарии, взявшись за руки, маршировали вперед, к будущему. Ни один из них не был похож на хилого седовласого Тятю. В квартире не было ни портретов, ни фотографий. Где же зеркало? Боже, здесь не было даже зеркала. В первой комнате Эвелин нашла оцинкованный тазик. Затем принесла с первого этажа ведро воды, подогрела ее на угольной плите, слила в таз и, взяв таз и тоненькое накрахмаленное полотенце, вошла в спальню. Малышка обкрутила вокруг себя и одеяло, и пододеяльник, и простыню. Эвелин мягко все это с нее сняла и посадила девочку на край кровати. Потом она стала снимать с нее ночную сорочку, вбирая в себя, будто солнечную энергию, теплые испарения детского тела. «Теперь встань в тазик», – сказала она и, присев, стала купать Малышку, черпая ладонями воду и нежно протирая смуглые плечики, налитые коричневые орешки сосков, пушистую мягкую попку, худенькие бедра, гладкий склон пузика и малое ее девчачество. Вода с горячего тельца дождем стекала в лохань. Потом Эвелин насухо вытерла девочку полотенцем и надела на нее свежую ночную сорочку, которую нашла в комод. Сорочка оказалась настолько велика, что Малышка стала смеяться и даже немного шалить. Эвелин разгладила простыню, взбила подушки, устроила девочку в постели и попробовала ее лоб – он был прохладен. Глаза Малышки поблескивали в сумраке. Однако пир для Эвелин еще не кончился. Она стала расчесывать ее черные волосы и трогать ее лицо. Она склонилась над ней, и тут руки Малышки обвилились вокруг ее шеи и губы прикоснулись к ее губам.

В этот день Эвелин Несбит решила похитить Малышку, а Тятю, стало быть, предоставить его собственной судьбе. Старый художник никогда не спрашивал ее имени и ничего о ней не знал. Все можно было сделать в два счета. Однако вместо этого дерзостного плана Эвелин почему-то с удвоенной энергией ринулась в семейную жизнь; ежедневно являлась с едой, с бельем, тащила все, что можно было протащить через цензуру мучительной гордыни старика. Ей хотелось стать одной из них. Она втягивала Тятю в разговор. Она научилась даже протрачивать на машинке штанишки. Часами она жила как женщина из еврейских трущоб, а потом из условленного места фсоусовский шофер отвозил ее в отель, и всякий раз она была в отчаянии. Она была так поглощена любовью, что забыла даже о своем любимом и главном занятии: перестала следить за собой и не понимала, к примеру, что случилось с ее глазами, почему она так часто моргает, словно пытаюсь очистить склеру от каких-то пятен. Между тем глаза ее постоянно были на мокром месте, а голос слегка охрип от набухания связок. Эвелин Несбит постоянно выделяла влагу счастья.

8

Однажды Тятя пригласил Эвелин на митинг, устроенный Социалистическим содружеством художников Нижнего Ист-Сайда совместно с семью другими организациями. Предстояло важное событие. Среди ораторов гвоздем программы будет не кто иная, как Эмма Голдмен. Тятя детально объяснил, что, хотя он неизменно противостоит Голдмен, поскольку она есть анархист, а он есть социалист, он также неизменно отдает должное ее личной храбрости и целеустремленности, и вот именно поэтому он пошел на некоторого рода временное соглашение между социалистами и анархистами, хотя бы на один вечер, тем более что собранные средства пойдут бастующим швеям и стачечникам-металлистам Мак-Киспорта, штат Пенсильвания, а также анархисту Франсиско Ферреру, которого собираются казнить в Испании за подстрекательство к всеобщей стачке. За пять минут Эвелин была погружена в бодрящую лингвистику радикального идеализма. Она, конечно, не осмелилась признаться Тяте, что для нее социализм и анархизм еще пять минут назад ничем не отличались друг от друга и что скандально известная дама-оратор пугает ее. Она закуталась в шаль, взяла за руку Малышку, и они поспешили за Тятей, который мощно теперь вышагивал к Рабочему Собранию на 14-й улице, Ист. Разок она все же обернулась, чтобы посмотреть, тащится ли, как обычно, за ней ее застенчивый воздыхатель, и он, конечно же, тащился на полквартила сзади –

худая физиономия в тени соломенного канотье.

Темой Эммы Голдмен на этот раз был Ибсен, великий драматург, давший нам своим творчеством великолепное оружие, отточенный инструмент для радикального иссечения общества. Низкорослая и, скажем прямо, малопривлекательная толстуха с тяжеловатой мужской челюстью. Очки в роговой оправе настолько увеличивали ее глаза, что, казалось, она полна ярости и ярится в адрес всего, к чему обращает свой взор. Ошеломляющая витальность, звенящий голос. Для Эвелин впоследствии было облегчением узнать, что Эмма Голдмен, по существу, – просто женщина, маленькая женщина, чье сознание захвачено и унесено величавой, как река, ораторией могущественных идей. Из-за жары и возбуждения, царившего в зале, Эвелин развязала свою шаль и опустила ее на плечи. Присутствовало не меньше сотни людей, они сидели на лавках и стояли вдоль стен, а Эмма Голдмен вещала из-за стола в глубине зала. Напротив нее в дверях стояло несколько полицейских, и в какой-то момент сержант прервал ее, сказав, что она нарушает, что она по заявке должна говорить о драме, а вместо этого толкует все время об Ебсене. Зал разразился хохотом и кошачьим концертом. Сержант испарился. Эмма Голдмен, однако, не присоединилась к веселью: по собственному опыту она знала, как действуют смущенные силы порядка. Она увеличила темп и накал своей речи, глаза ее рыскали по залу, раз за разом останавливаясь на алебастровом лице Эвелин Несбит, которая сидела между Тятей и Малышкой в первом ряду – на почетных местах, полагавшихся Тяте по его статусу президента Социалистического содружества художников Нижнего Ист-Сайда. «Любовь свободна!» – воскликнула Голдмен. Те, кто понимает, что фру Альвинг заплатила слезами и кровью за их духовное пробуждение, отвергают брак как навязанное, никчемное и пустое издевательство. Кое-кто в аудитории, включая Тятю, запричитал: «Нет! Нет! Товарищи и братья, неужели вы, социалисты, можете игнорировать двойные пути целой половины человечества? Вы думаете, что общество, которое грабит ваш труд, не навязывает вам своего отношения к женщине? Оно отвергает свободу и этим влечет вас в пути своих предрассудков. Все реформаторы говорят сейчас о белом рабстве, но если белое рабство – это проблема, почему же брак не проблема? Существует ли связь между институтом брака и институтом борделя?» При этом слове крики: «Позор! Позор!» – вспыхнули в зале. Тятя ринулся к своей дочери, зажал ей уши ладонями и огласил воздух воплями протеста. Голдмен воздела руки, призывая к спокойствию: «Товарищи, давайте спорить, но давайте соблюдать декорум, чтобы у полиции не было предлога прервать нас». Слушатели, повернувшись к дверям, увидели там уже не меньше дюжины полицейских. «Посмотрите правде в глаза, – быстро продолжала Голдмен, – женщины не могут голосовать, не

могут любить того, кого хотят любить, у них нет возможностей для развития их сознания и духовной жизни, товарищи, у них нет ничего! Но почему? Неужели наш гений только в наших матках? Неужели мы не способны писать книги, создавать науку, творить музыку, философию, способствовать улучшению человечества – в конце концов, просто-напросто распоряжаться своими собственными жизнями в духовных бурях бытия? Неужто наша судьба только в физической стороне жизни? Здесь среди нас сидит сегодня одна из самых блистательных женщин Америки, женщина, которую капиталистическое общество принудило искать свой гений исключительно в сексе, и она сделала это, товарищи, да с таким размахом, что Пирпонт Морган и Джон Ди Рокфеллер могли бы позавидовать. И что же? Ее имя стало скандальным, в то время как их имена произносятся с великим почтением лизоблюдами – законодателями этого общества». Эвелин похолодела. Она хотела натянуть шаль на голову, но боялась привлечь к себе внимание. Она сидела сжавшись, глядя в собственные колени. У оратора хотя бы хватило такта не смотреть в ее сторону, пока она все это провозглашала. Аудитория вывертывала себе шеи, пытаясь определить, о ком говорит Голдмен, но вдруг была отвлечена криками из глубины зала. Фаланга синих мундиров ломилась в дверь. Вопль. И сразу зал превратился в ад кромешный. Собственно говоря, так обычно и завершались выступления Эммы Голдмен. Полиция валила по проходу. Анархистка спокойно собирала бумаги в портфель, Эвелин Несбит почувствовала на себе взгляд Тяти и повернулась прямо к свирепому блеску его карающих глаз. Он смотрел на нее как на букашку, которую хоть и надо раздавить, но противно. Старое его лицо словно бы опало в сетке ужасающих новых морщин, он будто был при последнем издыхании, но глаза из глубин древнего черепа отчетливо переводили то, что он шептал на идиш искривленными губами: «Жизнь моя, ты осквернена курвами». Схватив за руку Малышку, он исчез в толпе.

Эвелин не могла двинуться. Свет померк в ее глазах. Рука блуждала в поисках опоры. Знакомый голос тут сказал ей прямо в ухо: «Сюда, идите за мной», – и она почувствовала чью-то стальную хватку. Это была стальная хватка самой Голдмен. Она повлекла ее в маленькую дверцу позади стола президиума, и перед тем, как скрыться за этой дверью, Эвелин, исторгнув из своего слабого горла слабенькую безадресную жалобу, оглянулась и увидела свою блондинистую молодую тень, которая, потеряв обычную застенчивость, яростно пробивала себе путь к ней, к ней. «Я на этом набила руку», – сказала Эмма Голдмен, таща ее вниз по темной лестнице. Ничего особенного, обычный вечер. Лестница вывела их за угол от главного входа в зал. Полицейский фургон прошел мимо, звоня в колокол, и завернул на другую улицу. «Пошли», – сказала Эмма Голдмен и повела Эвелин в противоположном направлении. Когда

Младший Брат Матери вывалился наконец на улицу, он увидел две женские фигуры под фонарями, пересекающие улицу в двух кварталах отсюда. Он поспешил за ними. Вечер прохладный. Шея в поту – б-р-р. Парусиновые брючата хлопали по ветру. Он приблизился к женщинам на полквартила и несколько минут шел на таком расстоянии. Внезапно они свернули и поднялись по лестнице в какой-то кирпичный дом. Он бросился сломя голову и, подбежав, увидел, что это мебелишки. Младший Брат Матери вошел внутрь и тихонечко поднялся по лестнице, не зная, какую комнату искать, но в полной уверенности, что найдет. На втором этаже он прынул в какую-то затененную нишу. Мимо с тазиком в руках деловито протрусила в туалетную Эмма Голдмен. Он услышал звук льющейся воды и увидел, что дверь одной из комнат открыта. Это была маленькая комнатенка. Заглянув в дверь, он увидел Эвелин Несбит, сидевшую на кровати, лицо в ладонях. Рыдания сотрясали ее тело. Увядшая сирень – такие были стены. Одна лишь только ночная лампочка у кровати давала свет. Услышав, что Голдмен возвращается, Младший Брат бесшумно метнулся вдоль комнаты и скользнул в шкаф. Дверь шкафа он, конечно, оставил слегка открытой.

Голдмен ухнула таз с водой на ночной столик и помахала вафельным полотенчиком. «Бедная девочка, – вздохнула она, – бедное дитя. Почему бы мне не освежить тебя чуть-чуть? Я – нянька, ты знаешь, именно как нянька я и зарабатываю на жизнь. Я следила за твоим делом по газетам. С самого начала я почему-то восхищалась тобой. Я не могла понять почему». Она расшнуровала сапожки Эвелин и стащила их. «Почему бы тебе не поднять ножки на постель? Ну вот, вот так». Эвелин легла на подушки. Сгибами кистей она терла глаза. Потом взяла полотенце из рук Голдмен. «Ах, я ненавижу слезы. Слезы так уродуют». Зарыдала в полотенце. «Все-таки ты, – продолжала Голдмен, – ведь ты лишь умная проституточка, ничего больше. Ты покорно приняла условия, в которых оказалась, и в них ты восторжествовала. Но что это была за победа? Победа проститутки. И чем же ты утешилась? Ты утешилась в цинизме, в унижении, в презрении к мужчинам. Почему же, думала я, я питаю столь сильное сестринское чувство к этой женщине? Ведь я же всегда отвергала всякое порабощение! Я была свободна. Дралась всю жизнь, чтобы быть свободной. Ни один мужчина не пролез ко мне в постель без любви. Я всегда сама брала их по любви, как свободное человеческое существо, мы всегда были равны в постели, любовь и свобода – в равных пропорциях. Я, может быть, переспала с большим числом мужчин, чем ты. А? Я любила больше, чем ты. Спорим? Пари это шокировало бы тебя, если бы ты до конца узнала, насколько свободной я была, в какой свободе я прожила свою жизнь. Потому что, как все шлюхи, ты не любишь свободы, ты любишь собственность. Ты – творение

капитализма, чья этика так уродлива и лицемерна, что твоя красота становится не более чем разменной монетой, да еще к тому же фальшивой, бессмысленная и холодная красота».

Вряд ли другие слова могли так быстро остановить слезы Эвелин. Она опустила полотенце и теперь взирала на маленькую приземистую анархистку, которая, ораторствуя, мерила комнату взад-вперед. «Так почему же я чувствовала столь тесные узы между нами? Ты – воплощение всего, что я презираю в женщине. Когда я увидела тебя на моем митинге, я была готова поверить в мистическую подоплеку событий. Ты явилась потому, что в круговращении вселенной твоя жизнь должна была пересечься с моей. Сквозь грязь и низменную суть твоего существования сердце привело тебя к анархическому движению».

Несбит покачала головой. «Боюсь, что вы не понимаете», – сказала она. Слезы снова наполнили ее глаза. Она стала рассказывать Голдмен о крошке в передничке, о Тяте и о своей тайной жизни в трущобах. «И вот теперь я потеряла их, – сказала она, – пропал мой постреленок». Горькие рыдания. Голдмен уселась в кресло-качалку возле кровати и положила руки на колени. «Олл-райт, если бы я не указала на тебя, твой Тятя не убежал бы, но что из того? Не волнуйся. Истина лучше лжи. Если ты отыщешь их снова, тебе не нужно будет ничего скрывать, между вами установятся честные отношения. А не найдешь, ну что ж, быть может, так будет лучше. Кто-то из нас живет настоящей жизнью, а кто-то лишь винтик в судьбе другого, лишь повод для чужой судьбы. Но кто и как? Ответа найти мы не можем. Такова моя точка зрения. Ты знаешь, в моей жизни был момент, когда я пошла на улицу продавать свое тело. Я никому до тебя не говорила об этом. К счастью, во мне тогда опознали новичка и прогнали домой. Это было на Четырнадцатой улице, вот именно на Четырнадцатой. Я дрожала от страха и прикидывалась то проституткой, то просто прогуливающейся девицей, и, конечно, никого мне не удалось одурачить. Сомневаюсь, что имя Александра Беркмана что-нибудь тебе говорит. – Эвелин покачала головой. – Когда нам с Беркманом было чуть за двадцать, мы были любовниками, но прежде всего мы были революционеры. Тогда случилась стачка в Питтсбурге. На стальном заводе мистера Карнеги. Ну-с, мистер Карнеги порешил раздавить профсоюз. С этой целью он прежде всего драпанул на отдых в Европу и поручил своему главному подхалиму, этому презренному подонку Генри Клею Фрику, доделать все за него. Последний импортировал целую армию пинкертонов, то есть скэбов, то есть штрейкбрехеров. Рабочие протестовали против сокращения заработной платы. Завод стоял на берегу реки Мононгахилы, и пинкертоны прибыли водным путем и высадились прямо к заводу. Решающая битва. Настоящая война. Когда это

кончилось, оказалось, что десять человек убиты, а раненых дюжины и дюжины, не счесть. Пинкертон отступили. Тогда у Фрика появилась возможность обратиться за помощью к правительству, и он окружил рабочих частями милиции штата. Вот к этому моменту мы с Беркманом и решились на наше attentat. Мы готовы были отдать наши сердца осажденным трудящимся. Мы внесем в их борьбу революционный запал. Мы убьем Фрика. Однако мы жили в Нью-Йорке, и у нас не было ни гроша. Нужны были деньги на железную дорогу, ну и на пистолет, конечно. Вот тогда-то я и надела вышитое белье и отправилась на Четырнадцатую улицу. Один старик дал мне десять долларов и прогнал домой. Остальные деньги я одолжила. Однако я продалась бы, я сделала бы это, если бы пришлось. Для attentat. Для Беркмана и революции. Вернее – наоборот: для нее и для него. Я обняла его на станции. Он собирался застрелить Фрика и не пощадить собственной жизни. Я долго бежала за отходящим поездом. Увы, денег на второй билет не хватило. Он сказал: для этого дела достаточно и одной персоны. Он вломился в кабинет Фрика в Питтсбурге и шарахнул по ублюдку три раза. В шею. В плечо. Еще куда-то. Кровь. Фрик дергался на полу. Вбежали люди и отобрали пистолет. Он выхватил нож. Ножом Фрика в ногу. Они отобрали нож. Он сунул что-то себе в рот. Они пригвоздили его к полу. Разжали ему челюсти. Капсула гремучей ртути. Все, что ему нужно было сделать, – разжевать капсулу, и тогда взорвалась бы вся комната и все присутствующие. Они запрокинули ему голову. Вытащили капсулу. Они избили его до потери сознания».

Эвелин села в кровати, подтянув ноги к груди. Голдмен уставилась в пол. «Восемнадцать лет он провел в тюрьме, – сказала она, – и часть этого срока в одиночке, в настоящей темнице. Как-то раз я навестила его. На большее меня не хватило, после этого я ни разу не была там. Ну а ублюдок Фрик между тем выжил и стал героем, публика отвернулась от трудящихся, и стачка была сорвана. Говорили, что мы отбросили американское рабочее движение на сорок лет назад. Один почтеннейший анархист, мистер Мост, поносил Беркмана и меня в своей газете. Тогда я хорошенько подготовилась к очередному митингу, я купила себе настоящий конский хлыст. Я высекла Моста на митинге перед всеми, а потом сломала хлыст и швырнула ему в лицо. Беркман вышел только в прошлом году. Облысел. Пожелтел, как пергамент. Мой любимый, мой юноша ходит скрюченный в три погибели. Глаза как шахты. Конечно, сейчас мы только друзья, наши сердца уже не бьются в унисон. Что он вынес в той тюрьме, я могу, знаешь, только себе представить. Мрак, сырость, связывают, швыряют на пол в собственные испражнения». Рука Эвелин потянулась к пожилой женщине, Голдмен взяла ее и сильно сжала. «Мы обе знаем, правда, что это значит, когда твой мужчина в тюрьме, а?» Две женщины смотрели друг на дружку. Несколько секунд молчания. «Конечно, твой – извращенец, паразит, кровосос, грязный,

отвратительный сибарит», – сказала Голдмен. Эвелин рассмеялась. «Безумный хряк, – сказала Голдмен, – вывернутые и сморщенные пороссячи мозги». Теперь они обе смеялись. «О да, я ненавижу его», – вскричала Эвелин. Лицо Голдмен как будто отражало теперь чувства Эвелин. «Однако есть же какая-то связь, ты видишь, наши души сообщались, наши жизни соприкасались, словно ноты в гармонии, в общей судьбе человечества, мы – сестры. Ты понимаешь это, Эвелин Несбит? – Она встала и прикоснулась к ее лицу. – Ты улавливаешь это, моя красоточка?»

Пока она это провозглашала, глаза ее изучающе осматривали Эвелин. «Как, ты носишь корсет? – Эвелин кивнула. – Какой позор! Взгляни на меня, даже при моей фигуре я не ношу ничего фундаментального, я ношу только легкие, свободно струящиеся вещи, потому что уважаю свое тело и даю ему свободу дышать и жить. Я была права, ты – их творение. Тебе нужен корсет не больше, чем лесной нимфе». Она взяла Эвелин за руки и посадила на край кровати. Пощупала талию. «Боже! Это же сталь! Твоя талия зашнурована туже, чем кошель с деньгами. Встань!» Эвелин послушно встала, и Голдмен не без определенного медицинского опыта быстро расстегнула и сняла с нее блузку. Затем упала юбка, и Эвелин вышла из нее. Голдмен развязала тесемки нижней юбки и сняла ее прочь. Легкий корсет подпирал грудь Эвелин, к нему были присобачены полоски, уходившие вниз – между бедрами. Корсет был зашнурован на спине. «Хохма в том, что во всех семейных очагах по всей Америке тебя полагают распутницей, – говорила Голдмен, расшнуровывая корсет и стягивая его вниз. – Выйди из этого». Эвелин послушалась. Ее белье прилипло к телу, отпечатывая на нем рисунок корсета. «Дыши, – скомандовала Голдмен, – подними руки, выпрями ноги и дыши». Эвелин подчинилась. Голдмен взялась за ее белье и потянула через голову. Потом присела и стянула с нее панталончики. «Выйди из них». Эвелин, естественно, вышла. Теперь она была полностью обнажена, если не придираться к черным вышитым чулочкам на эластичных подвязках. Голдмен, однако, скатала и их вниз, и Эвелин вышла из своих чулочков. Правда, она еще закрывала руками груди. Голдмен теперь поворачивала ее медленно вокруг оси – серьезная, нахмуренная инспекция. «Люди добрые, удивительно, что у тебя еще осталось хоть какое-то кровообращение». Тело Эвелин Несбит и впрямь было испещрено глубокими, словно рубцы, следами ее туалета. «Женщины – самоубийцы», – сказала Голдмен. Отвернула одеяло. Вынула из близстоящего бюро пузатенький докторский баул. «Такое фантастическое тело, и взгляни, что ты делаешь с ним. Ложись». Эвелин присела на кровать, глядя, что же появится из баульчика. «Ложись на живот», – скомандовала Голдмен. Она вынула бутылочку и стала вытряхивать содержимое бутылочки себе в пригоршню. Эвелин легла на живот,

и Голдмен начала нашлепывать густую жидкость на те места, где красные шрамы оскорбляли чудеснейшую плоть. «О-о, – жалобно вскричала Эвелин. – Жалит!» – «Дубящее средство, первейшая штука для восстановления циркуляции», – объяснила Голдмен, растирая эвелинскую спину, эвелинские ягодицы, эвелинские бедра. Хозяйка чудеснейшей плоти визжала, а сама плоть корчилась в муках при каждой аппликации. Эвелин зарыла лицо в подушки, чтобы заглушить стенания. «Знаю, знаю, – приговаривала Голдмен, – потом ты скажешь спасибо». Казалось, что под мощным растиранием плоть сейчас прорвет кожу. Эвелин трепетала, ягодицы ее сжались под ошеломляющим холодом астрингена. Ноги вжимались друг в дружку. Теперь Голдмен вынула из баульчика бутылку массажного масла и стала смягчать эвелинские плечики, шею и спину, эвелинские ляжечки, икры и подошвы. Постепенно Эвелин расслаблялась, божественная плоть теперь лишь слабо ответно трепетала под вдохновенным искусством голдменских рук. Голдмен втирала масло в кожу, пока тело не приобрело естественный бело-розовый цвет и не стало пошевеливаться с некоторым уже подобием самоощущения. «Перевернись», – последовала команда. Волосы Эвелин рассыпались теперь вокруг нее на подушках. Глаза ее были закрыты, а губы растягивались в безотчетной улыбке, ну а Голдмен тем временем рьяно массировала груди, живот, ноги. Ступни Эвелин изогнулись, как у балерины на пуантах. Таз вздымался из постели, как бы ища чего-то в воздухе. Голдмен отвернулась к бюро, чтобы взять новую порцию смягчающего, когда молодка начала играть на простынях, словно волна в море. В этот момент стены исторгли жуткий, неземной крик, двери шкафа открылись, и оттуда вывалился Младший Брат Мамы – лицо его дергалось в пароксизме священного умерщвления... плевки раскаленной джизмы... некое подобие серпантина... крики экстаза и отчаяния...

В Нью-Рошелл Мать целыми днями терзалась по поводу своего братца. Раз или два он звонил по телефону из Нью-Йорка, но не сказал, ни почему он пропал, ни где он пребывает, ни когда он вернется. Только мямлил что-то невразумительное. Она метала громы и молнии, но все безрезультатно. Через несколько дней она решила на чрезвычайный шаг – пойти и обследовать его комнату. Как всегда, там было опрятно. Машинка для натяжки теннисных ракеток на столе. Парные весла в козлах у стены. Он сам всегда следил за своей комнатой, и там не было ни пылинки даже сейчас, в его отсутствие. Щетка для

волос – на бюро. Слоновой кости рожок для обуви. Маленькая раковина в форме муфты с прилипшими зернышками песка. Этого Мать прежде не замечала. К стене была приколот картинка из журнала – портрет этой твари Эвелин Несбит работы Чарльза Дейна Гибсона. Он ничего не взял с собой, рубашки и воротнички лежали в комод. Она виновато покинула комнату. МБМ был странный молодой человек. У него никогда не было друзей. Он был одинокий и какой-то бесчувственный, если не считать постоянной лени, которую он либо не мог спрятать, либо и не собирался. Мать знала, что Отец находил эту лень и вялость несколько тревожащими. Тем не менее он продвинул МБМ в бизнесе и облек его весьма большой ответственностью.

Она не могла, увы, поделиться своей тревогой с Дедом, который произвел этого мальчика на свет божий, увы, в слишком позднем возрасте и к этому времени почти полностью отстранился от практического, увы, восприятия жизни. Деду было за девяносто. Бывший профессор греческого и латыни, он обучил этим мертвым языкам целые поколения епископальных семинаристов в колледже Шэйди-Гроув, что в центральном Огайо. Деревенский классицист. Мальчиком он знал Джона Брауна в округе Гудзон, в Западном заповеднике, и готов был рассказывать об этом двадцать раз на день всякому, кто готов был слушать. После отъезда Отца Мать все чаще вспоминала старую усадьбу в Огайо. Каждое лето там, казалось, чревато было каким-то обещанием, и будто знаки этого обещания, взлетали из-под стогов краснокрылые скворцы. Обстановка в доме была местного изготовления, прочная и разумная. Сосновые стулья с высокими спинками. Широкие половицы деревянных полов закреплялись болтами. Она любила тот дом. Они играли с Младшим Братом на полу у камина. Она всегда верховодила в этих играх. Зимой лошадка Бесси запрягалась в санки, колокольчик привязывался на хомут, и они скользили по толстому мягкому снегу Огайо. О, она помнила Брата, когда он был младше ее сына. Она заботилась о нем. В дождливые дни они забирались с якобы таинственными целями на сеновал, в блаженную утробу, где внизу под ними топотали, храпели и ржали кони. На воскресные утренники она надевала розовое платье и чистейшие белые панталончики и направлялась в церковь. Взволнованное сердцебиение. Ширококостная девочка с высокими скулами и узким разрезом серых глаз. В Шэйди-Гроув она прожила всю жизнь, за исключением четырех школьных лет в Кливленде. Она всегда предполагала, что выйдет замуж за одного из семинаристов. Бац – в последний ее школьный год на горизонте появился Отец. Он как раз путешествовал по Среднему Западу с целью завязывания полезных контактов для дальнейшего развития своего патриотического бизнеса. Дважды во время своих успешных путешествий он посетил ее в Шэйди-Гроув. Когда они поженились и она отправилась к нему на Восток, она, конечно, не преминула

взять с собой и престарелого своего папу. Позднее и Братец присоединился к ним в Нью-Рошелл, ибо был совершенно не способен к самоопределению. И вот сейчас, в эту пору жизни, одна в своем современном доме с чудеснейшими жалюзи – на вершине холма, на фешенебельной авеню Кругозора, с маленьким сынишкой и древним папашей на руках, она чувствовала себя оставленной предательской расой мужчин, и яростный ветер ностальгии настигал ее ежедневно и еженощно, внезапно и каждый час. Письмо из Республиканского инаугурационного комитета приглашало фирму назвать ее цену на декорации и фейерверки для январского парада и бала, когда мистер Тафт должен заместить мистера Рузвельта. Исторический момент для всего предприятия, а Отец и Младший Брат шляются неизвестно где. Она выбежала в сад, пытаясь взять себя в руки. Был поздний сентябрь, хризантемы, сальвии и бархатцы были в полном цвету, покачивались полновесно и удовлетворенно. Сцепив руки, она пошла вдоль ограды. Сверху, из окошка, за ней наблюдал Малыш. Он обратил внимание, как ее движения с некоторым отставанием переходили в движения ее одежды. Край юбки колыхался из стороны в сторону, бередя листья травы. У Малыша в руке было папино письмо, отосланное с мыса Йорк в северо-западной Гренландии. В Соединенные Штаты письмо было доставлено вспомогательным кораблем «Эрик», который в Гренландии сгрузил тридцать пять тонн китового мяса для псарни коммодора Пири. Мать сняла копию с этого письма, после чего оригинал был отправлен в мусор, ибо он весьма отчетливо пахивал дохлятиной. Малыш, разумеется, вытащил письмо из мусора и сделал его своим достоянием. По прошествии времени пальцы мальчика растерли сальные пятна по всей бумаге. Письмо теперь чудесно просвечивало каждым своим фибром.

Мальчик смотрел, как его мама выходит из пятнистой колеблющейся тени кленов и как ее золотые волосы, кучей собранные на голове в непринужденном стиле ежедневного невроза, вспыхивают словно солнце. Вот она остановилась, будто прислушиваясь к чему-то. Вот она поднесла ладони к ушам и медленно опустилась на колени перед клумбой. Потом она вдруг начала скрести пальцами землю. Малыш соскочил с окна и понесся вниз. Он промчался через кухню и вылетел в заднюю дверь. Тут он увидел впереди горничную-ирландку, на бегу вытиравшую руки о фартук.

Мать что-то нашла. На коленях у нее был какой-то кулек, и она счищала с него грязь. Горничная испустила вопль и перекрестилась. Малыш пытался разглядеть этот кулек, что же это за штучка, но горничная и Мать копошились теперь вокруг него на земле, счищая грязь, и он никак не мог между ними просунуться. Лицо Матери так побелело и было освещено таким интенсивным страданием, что он не узнал эту почитаемую им холеную и обильную красотой женщину, а

вместо нее предстал перед ним какой-то иной, древний измученный лик с обтянутыми костями. Когда кулек отчистили от грязи, он увидел новорожденного. Глазки и ротик его были еще забиты землей. Крошечный и морщинистый. Коричневый беби, туго стянутый одеяльцем. Мать высвободила его ручонки. Он слабо пискнул, и обе женщины просто-напросто забились в истерику. Горничная ринулась к дому. Малыш бежал сбоку от мамы и смотрел, как коричневые ручонки бессильно болтались в воздухе.

Женщины вымыли беби в тазике на кухонном столе. Это был еще окровавленный, неомытый мальчик. Горничная обследовала пуповину и сказала, что ее перегрызли. Младенца запеленали в полотенца, и Мать побежала звонить доктору. Малыш пристально смотрел, дышит ли беби. Да, дышит и двигается. Маленькие пальчики хватали полотенце. Головка поворачивалась, как будто он хотел увидеть кого-то своими закрытыми глазами.

Когда доктор прибыл на своем «Форде», его провели на кухню. Он прижал стетоскоп к крошечной костлявой груди. Он открыл младенцу рот и всунул палец ему в глотку. «Ну, народ», – сказал он и покачал головой. Уголки рта у него вздрагивали. Мать описала ему обстоятельства печального сюрприза, как она услышала писк, идущий прямо из-под ног, из земли, и в первый момент подумала, что за бред. «А если бы я наступила», – задумчиво пробормотала она, глядя в сторону. Доктор спросил горячей воды. Извлек инструменты из сумки. Горничная сжала пальцами крестик, висевший у нее на шее на цепочке. В дверях позвонили, и Малыш побежал в переднюю. Прибыла полиция. Мать заново объяснила все обстоятельства, на этот раз без задумчивости. Полицейский попросил разрешения воспользоваться телефоном. Телефон помещался на специальном столике в передней. Полицейский снял свой шлем, взял говорилку, поднял наушник. Подмигнул Малышу.

Через час в подвале дома в соседнем квартале была найдена черная женщина. Это оказалась прачка, которая работала где-то по соседству. Она сидела в полицейской санитарной машине, когда Мать вынесла ребенка. Взяв ребенка на руки, она заплакала. Мать была потрясена ее юностью. Детское лицо, простодушная красивая шоколадка. Грубо обстриженные волосы. Рядом с ней была медсестра. Мать отступила на тротуар. «Куда вы ее отправите?» – спросила она доктора. «В дом призрения, – сказал тот. – В конечном счете ей придется предстать перед судом». – «Какие же обвинения?» – спросила Мать. «Ну, попытка убийства, я бы сказал». – «У нее есть семья?» – спросила Мать. «Нет, мэм, – включился полицейский. – Насколько мы знаем, никого». Доктор

надвинул на глаза котелок, направился к своей машине и положил чемоданчик на сиденье. Мать глубоко вздохнула. «Я беру ее на поруки, – сказала она. – Пожалуйста, проводите ее в дом». Ни советы доктора, ни увещевания полиции не заставили ее передумать.

Так молодая негритянка и ее дитя возникли на верхнем этаже дома. Мать сделала несколько телефонных звонков, отменила свою работу на собрании Лиги жен. Взад-вперед – по гостиной. Ужасная ажитация. Вот сейчас-то она прочувствовала отсутствие мужа. Кляла себя за готовность, с какой всегда одобряла его путешествия. Вот сейчас-то нет никакой возможности дать ему знать о новых заботах семьи. До следующего лета ни одного звука не дойдет сюда из Арктики. Она поглядывала на потолок, как будто пыталась увидеть что-нибудь насквозь. Негритянская девчонка и ее беби принесли в дом запашок беды, сквознячок хаоса, и теперь это ощущение поселилось здесь, будто своего рода порча. Это страшило ее. Она подошла к окну. Каждое утро прачки поднимались на холм от трамвайной линии на Северной авеню и здесь рассеивались по домам. Бродячие садовники-итальянцы подстригали лужайки. Ледовщики понукали своих лошадок, и те натягивали упряжь, чтобы доставить сюда, на холм, колотый лед.

При взгляде на закат в тот вечер можно было подумать, что солнце у подножия холма катится по невидимому желобу. Кроваво-красное солнце. Поздно ночью Малыш проснулся и увидел свою мамулю, сидевшую рядом с кроватью и глядевшую на него. Золотые волосы ее были убраны. Большие ее груди мягко коснулись его руки, когда она потянулась поцеловать его.

10

Между тем Родитель писал домой ежедневно в течение долгих зимних месяцев – неотправленные эти письма стали принимать характер дневника. Таким путем он как бы измерял непрерывное течение мрака. Члены экспедиции жили с удивительным комфортом на борту «Рузвельта». Зимнее обледенение поднимало судно на его якорной стоянке до тех пор, пока оно плотно не засело грецким орехом в светящихся льдах. Пири жил, конечно, наиболее комфортабельно. В каюте у него было даже механическое пианино. Крупный мужичище с тяжелым торсом и рыжей с проседью шевелюрой – Пири. Длинные

усы. В предыдущей экспедиции он потерял пальцы на ногах и теперь ходил странноватой шаркающей походкой, не отрывая ног от земли. Именно такой обрубленной ступней он педалировал и свой проигрыватель. У него были валики с музыкой Виктора Герберта и Рудольфа Фримля, дикая мешанина песен Боудоин-колледжа и вальсов Шопена, в том числе «Минутный вальс», который Пири выкачивал своим обрубком за сорок семь секунд. Однако зимние месяцы не прошли вхолостую. Были вылазки на охоту – добывали мускусного быка; строили сани и базовый лагерь в девяноста милях от якорной стоянки – на мысе Колумбии, откуда и должен был произойти рывок через Ледовитый океан к Полюсу. Каждому участнику пришлось научиться править собачьей упряжкой и строить шалаши-иглу. За тренировками наблюдал помощник Пири негр Мэтью Хенсон. Пири к этому времени после ряда экспедиций разработал систему. Все материалы и конструкция саней, провиант и банки для провианта, способ закрепления тюков и нижнее белье, способы упряжки собак, типы ножей и оружия, сорта спичек, способы хранения спичек, очки-консервы против слепящего блеска снегов и так далее. Пири любил обсуждать свою систему. В основе своей – то есть в том, что касается собак, саней, меховой одежды, взаимоотношений с местной фауной, – Пириева система просто-напросто воспроизводила эскимосский образ жизни. Отец с удивлением осознал это в один прекрасный день. Эскимосы вообще привлекали его. Однажды ему случилось увидеть, как Пири на палубе распекал одного из эскимосов за то, что тот не сделал предписанной работы должным образом. Шаркая после этого мимо Отца, он сказал ему: «Они – дети, и с ними следует обращаться как с детьми». Наш Родитель был склонен согласиться с коммодором, вообще в этом вопросе наблюдалось некоторое единодушие. Десять лет назад он сражался на Филиппинах под знаменами генерала Ленарда Эф Вуда против повстанцев Моро. «Нашим коричневым братикам нужен хороший урок», – говорил штабной офицер, втыкая булабочки в карту кампании. Разумеется, эскимосы первобытны. Эмоциональные, мягкие, они вполне заслуживают доверия, несмотря на некоторую проказливость. Хохочут и поют, хохочут и поют. Глубочайшей зимней ночью, когда дикие штормы срывали камни с утесов, и ветры свистели бешеным бандитом, и царил вокруг такой опустошающий холод, что Отцу казалось – его кожа горит, Пири с товарищами обращались к теоретическим обоснованиям системы и этим как бы защищались от страхов. Эскимосы, у которых не было системы, но которые просто жили на своих свирепых просторах, очень страдали. Порой их женщины безотчетно разрывали на себе одежды и бросались в черные бури, вопя и катаясь по льду. Мужья силой удерживали их от попыток к самоубийству. Отец держал себя под контролем благодаря своим записям. Это тоже была своего рода система, система языка и концепции. Сие предполагало, что человеческие существа актом свидетельствования как бы поддерживают

существование других времен и территорий, чем то место и время, в котором они пребывают постоянно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<https://www.litres.ru/edgar-lorens-doktorou/regtaym/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Джон Филип Соза – автор патриотических песен типа «Звездно-полосатый флаг».

2

Эл Джолсон – певец, исполнитель сентиментальных песенок.

Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер (1834–1903) – живописец и график

----

Купить: <https://tellnovel.me/ru/edgar-doktorou/regtaym-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)